



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Рассказы



Annotation

Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного читателя.

- [Аркадий Аверченко](#)
 - [Автобиография](#)
 - [ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ](#)
 - [В ресторане](#)
 - [Сплетня](#)
 - [Пропавшая калоша Доббльса](#)
 - [Друг](#)
 - [Люди четырех измерений](#)
 - [День госпожи Спандиковой](#)
 - [Поэт](#)
 - [Здание на песке](#)
 - [Рыцарь индустрии](#)
 - [Ниночка](#)
 - [Страшный человек](#)
 - [История одной картины](#)
 - [Магнит](#)
 - [Русская история](#)
 - [Четверо](#)
 - [Ложь](#)
 - [Золотые часы](#)
 - [Веселый вечер](#)
 - [Кривые углы](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)

- [День человеческий](#)
- [Отец](#)
- [Корибу](#)
- [Хлопотливая нация](#)
- [Петухов](#)
- [Случай с Патлецовым](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
- [Яд](#)
- [Смерть девушки у изгороди](#)
- [История болезни Иванова](#)
- [Октябрист Чикалкин](#)
- [Мой сосед по кровати](#)
- [Законный брак](#)
- [Робинзоны](#)
- [«Аполлон»](#)
- [Неизлечимые](#)
- [Четверг](#)
- [Виктор Поликарпович](#)
- [Мужчины](#)
- [Чад](#)
- [Один город...](#)
- [Костя Зиберов](#)
- [Смерч](#)
- [С корнем](#)
- [Медицина](#)
- [Купальщик](#)
- [Сазонов](#)
- [Золотой век](#)
- [Преступление актрисы Марыськиной](#)
- [Волчья шуба](#)
- [Опора порядка](#)
- [На «Французской выставке за сто лет»](#)
- [Быт](#)
- [Рассказ о колоколе](#)
-

- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Святые души](#)
- [Замечательный человек](#)
- [Американец](#)
- [Спиртная посуда](#)
- [Тайна зеленого сундука](#)
- [Отец Марьи Михайловны](#)
- [Родители первого сорта](#)
- [Позитивы и негативы](#)
- [Поэма о голодном человеке](#)
- [Трагедия русского писателя](#)
- [Хомут, натягиваемый клещами](#)
- [Контроль над производством](#)
- [Мурка](#)
- [Алло!](#)
- [Одиннадцать слонов](#)
- [Бельмесов](#)
- [Фат](#)
- [Бритва в киселе](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
- [Юмор для дураков](#)
- [Функельман и сын](#)

- [Мать](#)
- [Хвост женщины](#)
- [Новогодний тост](#)
- [Роковой Воздуходуев](#)
- [Семь часов вечера](#)
- [Пылесос](#)
- [Фокус великого вино](#)
- [Люди, близкие к населению](#)
- [О гробах, тараканах и пустых внутри бабах](#)
- [Обыкновенная женщина](#)
- [Окружающие](#)
- [Молодняк](#)
- [Оккультные науки](#)
 - [предисловие](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [заключение](#)
- [Уники](#)
- [Находчивость на сцене](#)
- [Роковой выигрыш](#)
- [Белая ворона](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
-

Аркадий Аверченко
Хлопотливая нация
(рассказы)

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым делом вырасти. Я выполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и спалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который dokonчил и уме: «...хорошего в ученьи».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и, нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению, выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосыгаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека, в жилете, без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самым главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там, – попросил меня главный агент. Я выпянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто. Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того лодырем, предупредительно

сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился. Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

– Что это такое? – изумился я.

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

– Ну?

– Так не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими, отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали

угрюмососредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году,^[1] и была она, как мне казалось, сплошным триумфом.

Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница

газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Рассказы

В ресторане

– Фокусы! Это колдовство! – услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.

Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

– Не более как ловкость и проворство рук.

– Это колдовство! – упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

– Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

– Да разве вы, как его... пре-сти-ди-жи-да-тор?^[2]

– Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

– За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

– Вполне постижимо! Ну, идет – сто рублей?

– Нет, это много! У меня есть только пять.

– Да ведь мне все равно... Можно меньше – хотите три бутылки пива?

Черный ядовито подмигнул:

– Да ведь проиграете!

– Кто, я? Увидим!..

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.

– Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

– Раз, два, три! Начинаю!

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож, поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

– На пиджаке тоже есть?

– Как же!.. Сзади, на рукавах, около карманов. Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.

– У меня и на брюках есть! – корчась от смеха, говорил черный. – И на ботинках!

– Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

– На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно.

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:

– Готово, все!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

– 82 штуки. Ловко!

– Теперь пойдя принеси мне иголку и ниток! – скомандовал фокусник. – Живо, ну!

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

– Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли! Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

– Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?

Черный человек побледнел:

– Ку-куда же вы? Фокусник зевнул:

– На боковую... Спать хочется, как собаке. Намаешься за день...

– А пуговицы... пришить?

– Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл... Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен... Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

– Гос-по-ди! Что же теперь будет? Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.

Сплетня

Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать дачей...

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка очертя голову взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голый ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную прозрачную влагу...

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой, позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и наконец выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голый рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

– Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе... Ну и штука!

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

«Ну, хорошо... скажем, купаются вместе... а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»

Придя на службу в таможеню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чая и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом...

– Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю – из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает... Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет... Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются... Гы!.. Вот бы поехать!

Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался... Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе – и мужчины и женщины купаются. Говорит – поеду в Ривьеру. Поедешь, как же... На это деньги надо, голубчик!

– Отчего же! – вмешался пакгаузный Нибелунгов. – У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять...

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

– Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможене! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил... Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято... Хе-хе!

– Ах бесстыдники! – целомудренно потупилась Петровна. – Ну и езжали бы себе подальше, а то – на-ко, здесь разврат заводят! Только куда ему с ней... Она баба здоровая, а он так – тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

– Это что же, для Ривьеры глаженные юбки понадобились?

– Ах, что вы! Слова такие! – усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

– Ну да! Небось тебе-то да не знать... Она скорбно помолчала.

– Эхма, дурость бабья наша... И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая в чем дело, вытаращила глаза...

– Да, ваша Марья Григорьевна – хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру, на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился... Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками.

– Да правда ли это, Анисья Петровна?

– Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

– Ах, ужаси!

Горничная опрометью, позабывши об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самым членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

– Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? – прищурился глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. – Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников...

– Оставьте! – огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-à-tête.^[3] – Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками...

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом.^[4]

Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

– Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка!!

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможи, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

– Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то чтоб после на меня чего не было... Скажут – ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

– Рассказывай: с кем, как и когда? Горничная почуяла под собой почву.

– Да все с этим же... трухлявым! Федором Ивановичем... что в прошлом году раков вам в подарок принес... Вот тебе и раки! И как они это ловко... Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет – тетка евонная богатая, – и вместе купаться поедут в Ривьеру куда-то... Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского... Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь – Аквинского – нафталином и сложить на лето в сундук... Моль и поела Аквинского.

Он писал:

«Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении... За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело... Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требуют член таможи господин

Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял... Сначала говорит: „Вы, – говорит, – Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?“ – „Никак нет“, – отвечаю... А он как закричит: „Так вот как!!! Не лгите! Вы, – говорит, – попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором – предупреждаю – вы же и захлебнетесь!!“ Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... „Вы, – говорит, – вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!“ Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание? Как я уже вам объяснял – это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки – не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни что он говорил – так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат...»

Пропавшая калоша Доббльса (Соч. А. Конан-Дойля)

Мы сидели в своей уютной квартирке на Бэкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. (Удивительно: когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись...)

Итак, по обыкновению, выла буря, Холмс, по обыкновению, молча курил, а я, по обыкновению, ожидал своей очереди чему-нибудь удивиться.

– Ватсон, я вижу – у тебя флюс. Я удивился:

– Откуда вы это узнали?

– Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого! Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком.

– Поразительно!! Этакая наблюдательность. Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко-де-Гама.

Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью.

– Г. Холмс! Я Джон Бенгам... Ради Бога помогите! У меня украли... украли... Ах! страшно даже вымолвить...

Слезы затуманили его глаза.

– Я знаю, – хладнокровно сказал Холмс. – У вас украли фамильные драгоценности.

Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока.

– Как вы сказали? Фамильные... что? У меня украли мои стихи.

– Я так и думал! Расскажите обстоятельства дела.

– Какие там обстоятельства! Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой, а он выхвати да бежать! Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша – вот.

Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и

проглотил.

– Теперь я понимаю! – радостно сказал он. Мы вперили в него взоры, полные ожидания.

– Я понимаю... Ясно, что эта калоша – резиновая! Изумленные, мы вскочили с кресел.

Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало.

– Господи помилуй! Это колдовство какое-то! По уходе Бенгама мы помолчали.

– Знаешь, кто это был? – спросил Холмс. – Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией.

Я всплеснул руками:

– Холмс! Вы сущий дьявол. Откуда же вы все это знаете?

Холмс презрительно усмехнулся.

– Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор – несомненно, мужчина!

– Да какая же сорока принесла вам это на хвосте?

– Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут!

Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак.

Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке.

Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии.

Кончивши элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микель-Анджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне:

– Ну, Ватсон – собирайся! Я таки нащупал нить этого загадочного преступления.

Мы оделись и вышли.

Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса».

Мы прошли прямо к редактору.

– Сэр, – сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы. – Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи – задержите его и сообщите мне.

Я всплеснул руками:

– Боги! Как это просто... и гениально.

После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дэли-Нью», «Пель-Мель» и еще в несколько. Все получили предупреждение.

Затем мы стали выжидать.

Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату забрызганный грязью.

– Холмс, – сказал неизвестный грубым голосом. – Я – Доббльс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу – я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски.

– Ну, мы эти штуки знаем, любезный, – пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол.

Но Доббльс прыгнул к дверям и, бросивши в лицо Шерлока рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после в передней.

Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным.

Кроме этого преступления, Холмс открыл и другие, может быть, более интересные, но я рассказал о пропавшей калоше Доббльса как о деле, наиболее типичном для Шерлока.

Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.

– Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это? Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошкиных связок после давешнего рукопожатия.

– Видишь, ты уже раскаиваешься... Ведь я эти глупые романы знаю – вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда однажды никого из ближних не было, ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию... У них иногда действительно бывают такие физиономии... забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты, вместо того чтобы стряхнуть ее на пол, сделал предложение... Было так?

Крошкин пожал плечами:

– Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь... Глупость совершена – предложение сделано.

– Ах ты Господи! Можно все еще исправить. Ты еще можешь разойтись.

– Черт возьми! Как?! Душилов впал в унылое раздумье.

– Не мог ли бы ты... поколотить ее отца, что ли! Тогда, я полагаю, все бы расстроилось, а?

– То есть как поколотить? За что?

– Ну... причину можно найти. Явиться не в своем виде – прямо к старику. Ты что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета! Да по голове его!

– Послушай... Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?

– Иногда пожалуй, – согласился Душилов серьезно. – Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко...

– Ну, вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.

– Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?

– Может, ты ее собираешься поколотить?

– Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор... в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкин подумал.

– Знаешь, удав, – это мысль! Только ты можешь все испортить!

– Кто, я? Будет сделано гениально.

– Сумасшедший, постой! Куда ты?

Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

– Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно... я рада за вас. А что подельывает Крошкин?

– Какой Крошкин?

– Ну, ваш друг!

– Он мне теперь не друг!

– Что вы говорите! Почему?

– Потому что он не Крошкин!

– А кто же он?

Душилов сокрушенно вздохнул.

– Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.

Побледневшая блондинка открыла широко испуганные глаза.

– Что вы говорите! Зачем ему это понадобилось?

– Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден... Теперь вы понимаете?!

– Душилов... Вы меня... с ума сведете.

– Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!

– Боже мой... Такой симпатичный, скромный, непьющий...

Душилов развел руками:

– Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик...

Вчера он у вас не был?

– Не был.

– Вчера он ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!

– Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый... Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал...

– Комедия! Если бы отрыть тетку и произвести экспертизу внутренностей...

– Господи! Вы думаете...

– Я уверен.

– Но каково это его сестре! Душилов грубо расхохотался.

– Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра!

На глазах девушки стояли слезы.

– Вы знаете, что он хотел на мне жениться?

– Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?

– Да... Мы так мечтали.

– Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!..

Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

– Душилов... один вопрос: значит, он меня не любил?

– Видите ли... У него есть любовница – француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

– Этого... я ему никогда не прощу.

– И не прощайте! Я вас вполне понимаю... Кстати, у вас столовое серебро в целости?

– Ка-ак! Неужели он дошел до этого?

– Ничего не скажу... Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias^[5] Звереву, от вас привет?

Девушка вскочила с растрепанной прической и гневным лицом:

– Скажите ему... что он самый низкий мерзавец! Что ему и имени нет!

– Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца – я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!

Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III

На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.

Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.

За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:

– Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком?.. Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки ускорена не природой, а человеком, и этот человек были вы, – при соучастии любовницы, француженки Берты, которую

полиция сегодня тщетно разыскивает? Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..

Люди четырех измерений

I

– Удивительно они забавные! – сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

– Совершенно верно. – Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

– Иногда они смешат меня.

– Это мило с их стороны, – осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

– Вы знаете, он – настоящий Отелло.

Так как до сих пор мы говорили о старике докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

– Никогда этого нельзя было подумать! Она вздохнула.

– Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.

– Ах, вы говорите о муже! Но ведь он... Она удивленно посмотрела на меня:

– Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

– Упал, что ли?

– Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку. Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной. Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

– До тех пор, пока вы не разьясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

– Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на

скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разругмянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете – я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, – настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, – говорит, – закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове – трах! И молодой человек, как этот самый... сноп, – падает. Ужас!

– Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?! Она пожала плечами.

– Я же вам говорю: они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

– Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не видите!

– И не покажусь, – пошутил я. – Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал.

– Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то – подумайте – у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги...

Я отшатнулся от него:

– Но... при чем здесь серьги?

– Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и плушь отчаянная.

– Вы думаете, что это грабитель?

– Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку – ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

– Так вы его... кирпичом?

– По голове. Не пискнул даже... Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

– За вами не поспеешь! – раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

– Боже! Что с вами случилось?!

– Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

– Но... ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

– Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

– Не знаю. А что?

– Ну... не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

– Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

– Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

– Вы говорите – шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

– Ну да. Вы, наверно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни... Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Ленъ, истома. Хочу закурить папиросу, – черт возьми! Нет спичек... Ну, думаю, будет проходить добрая душа – попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И – что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то – и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

– Вы... действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

– Я в этом уверен.

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.

Это была небольшая заметка в хронике происшествий: «Под парами алкоголя. – Вчера утром сторожами, убравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию...»

* * *

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны...

И смеюсь, смеюсь.

День госпожи Спандиковой

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической душой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга вставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песка, цветов в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

– Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку.

А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легкий, и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

– Мука моя мученская! – простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться, и так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

– Чего ты? – спросил господин Спандиков.

– Я потеряла обручальное кольцо в воде, – всхлипнула госпожа Спандикова.

– Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать – потеряла, значит, и нет его. Пойдем.

– Как пойдем? – вспыхнула госпожа Спандикова. – Так может говорить только старый осел!

– Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

– Ты.

– Ну ладно, ну я... Пойдем, милая.

– Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

– Я куплю другое. Пойдем, милая.

– Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит – большое несчастье.

– Первый раз слышу!

– Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

– Ну, я иду домой.

– Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

– Купить другое? – пошутил муж. Госпожа Спандикова всплеснула руками:

– Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца... Это принесет нам страшное несчастье.

– Да мне не хочется.

– Лезь.

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

– Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

– Ищи же тут! Нырни еще.

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

– Разве ты в этом месте купалась?

– Нет... вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

– Да течение не оттуда, а отсюда.

– Не может быть... Почему же, когда мы купались у Красной рощи, течение было отсюда?

– Потому что мы были на том берегу реки.

– Это все равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку грустный, с искаженным лицом...

– Не могу больше! – прохрипел он.

– Это еще что за новости?!

– Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья.

– Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье... Поищи еще здесь...

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

– Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер...

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но тем не менее господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.

.....

На даче все оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической дурой» и «рыжей тетехой».

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

– Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

– Ну? – спросил муж хронической дуры.

– Ну – и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?

Поэт

– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради бога, простите меня!

– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

– Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.

– Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня:

– Эти стишки не подошли??!

– Да, да. Эти самые.

– Эти стишки??!! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

– Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

– Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

– Да вы бы их еще раз прочли!

– Да зачем же? Ведь я читал.

– Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

– Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

– Стихи не подходят.

– Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после прочтите в нее. Вдруг да подойдет.

– Нет, зачем же оставлять?!

– Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

– Не надо. Оставьте их у себя.

– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

– До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл...»

– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать. Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать

И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...» – и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

– Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

– «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена.

– Хотел бы я ей черный ло... Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

– Что такое?

– Тс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон... —

все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

– От кого это?

– Брось! Это так... плусти. Один очень надоедливый человек.

– Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «аждное утро»... «черны... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаюсь сунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»... – Ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов, – вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меня это то на продажных тварей, – и просил замолвить словечко за его стихи. По моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то волосы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...

Здание на песке

I

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

– Чья это ручонка? – спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

– Чья это маленькая ручонка?

Самое простое – жене нужно было бы ответить:

– Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

– Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку. Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

– Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

– Окрошка, на второе голубцы, а потом – крем. Или:

– Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

– Да нет же! – хохотал он. – Что у нас должно родиться?

– Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

– Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскрыет столовым

ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

– Мальчик.

– Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:

– Котлеты под морковным соусом. Но говорю:

– Инженера.

– Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это ты так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

– Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

– Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

– Хороший нагрудничек.

– Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

– Панталончики?

– Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

– Видел. Три раза видел.

– Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки. У мужа Мити на глазах слезы.

– Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. «Папочка, – скажет он мне, – папочка, дай мне карамельку!» Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

– Купи пуд, – советую я.

– Пуд, пожалуй, много, – задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

– А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

– А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

– Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

– Что?

– Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.

– Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

– Эй! – кричу я. – Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

– А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II

Недавно я получил странную записку:

«Дорог Александр Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!! Ого-го-го!!!»

«Бедняга помешается от счастья», – подумал я, взбегаю по лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

– Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

– Поздравь, – сухо ответил он.

– Жена благополучна? Здорова?

– Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

– Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался? Муж Митя сардонически расхохотался.

– Ха-ха! Можешь поздравить... пойдём, покажу.

– Он в колыбельке, конечно?

– В колыбельке – черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

– Послушай! – закричал я, отскочив в смятении. – Там, кажется, два!

– Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

– Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

– А я почему знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

– Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его.

– Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

– Да как же! Теперь я погиб...

– Почему?

– Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут – учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать – она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

– Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»

– Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

– Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

– Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины!

Рыцарь индустрии

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, – и упал на мостовую.

Я выплянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

– Почему не можете? – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. – Конечно же, можете.

– Зайдите ко мне в таком случае, – сказал я, отходя от окна.

Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

– Цацкин.

– Очень рад. Не ушиблись ли вы?

– Чтобы сказать вам – да, так – нет! Чистейшей воды пустяки.

– Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? – подмигивая, спросил я. – Хе-хе.

– Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли – могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

– Нет, зачем же, – удивленно возразил я, всматриваясь в него. – Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

– Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

– Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

– Так вы – агент по страхованию жизни? – сухо сказал я. – Чем же я могу быть вам полезен?

– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться – на дожитие или с

уплатой премии вашим близким после – дай вам Бог здоровья – вашей смерти?

– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. – Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

– А супруга?

– Я холост.

– Так вам нужно жениться – очень просто! Могу вам предложить девушку – пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет – можно купить готовые. Адрес – магазин «Оборот»... Наша фирма...

– Господин Цацкин, – возразил я. – Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

– Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

– Оставьте ваши пробные флакончики при себе, – раздражительно сказал я. – Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

– Что такое – лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите – рост...

– Ничего мне не нужно! – сказал я, сжимая виски. – Простите, но вы мне действуете на нервы...

– На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне

симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

– Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин» – фирма уж сама доставит вам на дом...

– Извините, – сказал я, закусывая губу, – но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа – писать статью...

– Утомительная? – сочувственно спросил господин Цацкин. – Я вам скажу – она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три – десять...

– Пошел вон! – закричал я, дрожа от бешенства. – Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

– Этим пресс-папье? – презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. – Этим пресс-папье... Вы на него дуньте – оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

– Вот сейчас придет человек – прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания. Прошло две минуты. Я позвонил снова.

– Хорошие звонки, нечего сказать, – покачал головой господин Цацкин. – Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

– Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

– Это не дай бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и – распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и прищурясь сказал:

– В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня – один прибор два рубля сорок копеек, за три – шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

– Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

– Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне:

– У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

Ниночка

I

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову, и, протянув ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

– Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

– Почему же? – удивилась Ниночка. – Я за это жалованье получаю.

– Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

– Грудь не болит.

– Я очень рад. Вам не холодно?

– Отчего же мне может быть холодно?

– Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

– Оставьте мои руки в покое!

– Милая... Одну минутку... Пойдите... Зачем вырваться? Я, это самое... рукав, который просвечив...

– Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

– Мерзавец, – прошептала Ниночка. – Я тебе этого так не прощу. Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась: «К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

II

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

– Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? – ласково спросил адвокат Язычников.

– Нельзя ли его сослать в Сибирь? – попросила Ниночка.

– В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

– Ну, притяните.

– У вас есть свидетели?

– Я – свидетельница, – сказала Ниночка.

– Нет, вы – потерпевшая. Но, если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

– Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

– Покажите руку, – сказал адвокат.

– Вот тут, под кофточкой.

– Вам придется снять кофточку.

– Но ведь вы же не доктор, а адвокат, – удивилась Ниночка.

– Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

– Нет, не знаю.

– Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличие преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на белорозовом фоне плеча и вежливо сказал:

– Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое?.. Грудь?

– Не трогайте меня! – вскричала Ниночка. – Как вы смеете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

– Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

– Вы – нахал! – перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе: «Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее – это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».

III

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек. Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

– Разденьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

– Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

– Зачем же совсем? – вспыхнула Ниночка. – Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

– Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

– Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

«Вот вам – друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».

Ниночка прошла несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала не приветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

– Ха-ха! – горько засмеялся он. – Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз – справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

– Прикажете снять кофточку? – робко спросила Ниночка.

– Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем... можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы, гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

– Однако, руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы: «Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переделалась и пошла посидеть к соседу по мебелированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

– Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

– Меня сегодня обидели, Ихневмонов, – садясь, скорбно сообщила Ниночка.

– Ну!.. Кто?

– Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

– Чем же они вас обидели?

– Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

– Так... – перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, – это нехорошо.

– У меня рука болит, болит, – жалобно протянула Ниночка.

– Этакие негодяи! Пейте чай.

– Наверно, – печально улыбнулась Ниночка, – и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.

– Зачем же ее осматривать? – улыбнулся студент. – Есть синяк – я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

– До сих пор рука горит, – пожаловалась Ниночка. – Может, примочку какую-нибудь надо?

– Не знаю.

– Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, – я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами.

– Зачем же вас затруднять... Будь я медик – я бы помог. А то я – естественник.

Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:

– А вы все-таки посмотрите.

– Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?... Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.

– Вы бы одели в рукав, – посоветовал Ихневмонов. – Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

– Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, – сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.

– Экий негодяй! – мотнул головой студент.

– Показать?

Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

– Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь – что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

– Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

– Отчего же, помилуйте, – сказал Ихневмонов, энергично трясая на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

– Какие все мужчины негодяи!

Страшный человек

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупое покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа – любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

– Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодьям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое. Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

– Я не хочу вашего супа с битком, – говорил он обиженно. – Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый плоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню. Он хотел сделать так.

Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым плотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но, раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выплядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

– Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

– Их нет-с, – говорил обычно слуга. – Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

– Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! – грубо смеялся он, хлопая себя по карману. – Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

– Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить плотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская гольтьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто, – будут со страхом спрашивать, – стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это – страшный человек! Потом княжну какоюнибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы, – подумал он, – если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал». И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

– Вот... возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг – сын квартирной хозяйки, Мотья, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

– Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотья робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

– Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело.

– Бы-ло? – спрашивал Мотья, дрожа всем телом. Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

– Да, брат... Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча – чудо что такое.

– А что же вы с купцом сделали? – тихо спросил бледный Мотька.

– Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов – Лоренцо, и я, ха-ха, поквитался с ним!

– Кричал? – умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

– Не цыкнул. Нет, это что... Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

– Какой... старухи? – прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

– Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил... Ну, и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

– А сколько... вы вообще человек... уложили? Химиков задумывался:

– Человек... двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?

– Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

– Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть... а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

– Покажите мне еще раз ваш кинжал, – просил Мотька.

– Вот он, старый друг, – оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. – Я таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо... Хах-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

– Ну, Мотя, устал я после всех этих передряг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

– Зачем вы предпочитаете пол? – почтительно спрашивал Мотька.

– Э-э, брат! Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев это – царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков – такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность, – закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала, – влюбился.

Его идеал, – бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, – нашел воплощение в девице без определенных занятий – Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

– Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.

– Сударыня, Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей...

Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

– Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь... Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорила... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

– Милостивый государь! – загремел он, приблизившись к донжуану и смотря на него снизу вверх. – Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

– Кто вы такой, черти вас раздери?

– Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

– Ч-черт з-знает, что такое, – пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки. – Черт знает... решительно не понимаю... – оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

– Сударыня, – сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли. – Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! – зловеще захохотал

Химиков. – Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

– Кто вы такой? – спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

– Я...

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

– Когда-нибудь... когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я... Пока же... сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы... Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным соблаговолить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.

– Ну что ж, можно, – усмехнулась Полина Козлова. Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию – Полина Козлова.

– Так молоды и, увы, беззащитны, – прошептал Химиков, тронутый ее историей. – Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

– Покатайте меня на автомобиле, – сказала девушка, щуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.

– Сударыня, вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна,

чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

– Суд... Полина. Вв... вы... меня... полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

– Дайте папиросу, – попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

– Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! – в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

– Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива – все это поглотило молодое поэтическое чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед... Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно

было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли – он не замечал этого. Над Химиковым смеялись – он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли – он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал, как зеницу ока. Но однажды Полина сказала:

– Принесите завтра конфет.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

– Что это? – спросил удивленный торговец.

– Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, – печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

– Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, – улыбнулся торговец. – С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди и похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфетах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений: ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал – маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб – перед прохожим.

– Ха-ха-ха! – жутким смехом захохотал он. – Нет ли денег?

– Бедняга! – сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. – В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно. На тебе двугривенный, пойдешь, обогрейся!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

X

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотья и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

– Да... брат... Мотя, – подмигнул ему Химиков, – много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

– Мама говорила, что, может, не умрете, – попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

– Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя... Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, – мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.

– Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.

– Ха-ха-ха! – зловеще засмеялся Химиков. – Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, – тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

– Кто он такой? – шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

– Лекарь, – с трудом сказал Химиков, открывая глаза, – тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

– Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш...

И затих.

История одной картины (Из выставочных встреч)

До сих пор, при случайных встречах с модернистами, я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо или попросит займы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, – и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины.

Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом – голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, – что передо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

– Э! – сказал я сам себе. – Ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость – крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной и закорючки с утомительной стойкостью висели – каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

– Черт возьми! – проворчал я, наконец потеряв терпение. – Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой:

– Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

– Кто вы такой? – отрывисто спросил я.

– Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

– Да-а... Скажите, – сурово обратился я к нему. – Что это такое?

– Это? Господи боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена,opus восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

– Соната?

– Соната.

– Вы говорите, восемнадцатый? – мрачно переспросил я.

– Да-с, восемнадцатый.

– Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена;opus двадцать четвертый?

Он побледнел.

– Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

– Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь opуса на два выше?... Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

– Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

– К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

– Почему?!!

– Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.

– Что вы ко мне пристаёте?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

– Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

– Не надо портить статуи, – попросил я. Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

– Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая fuga Чайковского, Оп. 9, изд. Ю. Г Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я – тоже.

Магнит

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:

– Если мне будут звонить, спроси – кто и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

– Если мне будут звонить, спросите – кто и запишите номер.

– Слушаю-с, барин!

– Хорошо, папа!

И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

– Смотрите, какой он важный!

– Да, у него такой дурацкий вид, что будто он только что обзавелся собственным телефоном.

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

– Что такое?

– Барин, барин, – шептала она, давась от смеха. – Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услышала...

Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй, что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:

– Чего ты хочешь?

– Тш... барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

– Что случилось? – обеспокоился я.

– Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.

– Какую... Бельс-ку-ю? – ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

– Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.

Вне себя, я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:

– И это передать... Хорошо-с... Можно и это передать. И поцелуи... Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

– В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.

– Это дом сумасшедших! – вскричал я. – Ничего не понимаю!

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

– Ты... мерзавец!

– Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.

– Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?

Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

– № 349-27: «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».

№ 259-09: «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»

№ 317-01: «Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

№ 102-12: «Ты негодяй! Надеюсь, понимаешь».

№ 9-17: «Мерзавец – и больше ничего!»

№ 177-02: «Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?».

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

– Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? – с дрожью в голосе спросила она. – Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей – № 177-02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

– Центральная, № 177-02! Спасибо. № 177-02? Мужской голос ответил мне:

– Да, кто говорит?

– Номер 300-05. Позовите к телефону Надю.

– Ах, вы № 300-05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин... Я знаю, кто вы такой!

– Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.

– Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные оболъстители. Знайте, № 300-05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:

– Папа, так ты бросишь эту драную кошку Бельскую? Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник. По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.

Я вскочил и помчался в кабинет.

– Кто звонит?

– Это № 300-05?

– Да, что нужно? Послышался женский смех.

– Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?

– Кольца у меня нет, – отвечал я. – И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку Бельскую».

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

- Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.
- А зачем? – удивился я.
- Видите ли, ваш номер 300-05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.
- Да, они уж очень к нему привыкли, – согласился я.
- И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.
- Совершенно верно, – согласился я. – Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.
- Да? – обрадовался молодой человек. – Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.
- А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза, – сообщил я, подмигивая.
- Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.
- Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77–92. Я обещал усыновить.
- Вы думаете, он мой? – задумчиво спросил бритый господин. – Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои – где не мои. Его простодушный вид возмутил меня.
- А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?
- Он улыбнулся и добродушно махнул рукой:
- Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?
- Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.

– Так вы артист? Я очень люблю театр.

– О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.

Русская история

Посвящается Мин-ву нар. Просвещения

I

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.

Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.

А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне. – Ты чего?

– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

– Ты – чего?!

– Как видите: гербаризацией балуюсь.

– Ты – чего?!?!?

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.

– Ты – чего?!?!?

– Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко, – я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Был он старик белый как лунь и глупый как колода.

– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! Холеру пушает.

Авторитет стариков, белых как лунь и глупых как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи оттелева!
Студент завопил.

– Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол – твой батя – и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся.

Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки и то – самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

– Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня али так, помять?

Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

– Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный... Ну, хотите – я съем его?

– Брешешь! Не съешь!

– Уверяю вас! Съем – и мне ничего не будет.

– Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопают! Студент сел посередине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.

Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

– Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

– Весь! – сказал студент, показывая пустой пакетик.

– Ешь и бумагу, – решил Петр Савельев, белый как лунь и глупый как колода.

По газетным известиям насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего – его якобы отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, пролотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

– Ешь! – приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

– Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..

– Видимое дело, – сказал добродушный мужик по прозвищу Коровий-Кирпич. – Занапрасну скубента избидели.

– Темный вы народ, – сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

– Темный вы народ! – повторил он. – Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах – так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

– Толкуй! – недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.

Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает только солнечный свет.

Когда же студент осмелился нахально заявить, что земля круглая и что она ходит вокруг солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке.

Почему газеты об этом умолчали – неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого

положения.

И совершенно неожиданно выход был найден в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

– Дело! – сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицеру кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

– Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там заплатят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к Старостиной избе.

Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

– Мерзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный, выскочил староста.

– Чего изволишь, батюшка?

– «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу – батюшка!! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?

– Ко... Коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

– Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут! Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой, испуганной, встревоженной тучей.

– Тихо! – крикнул Васька Свищ, выступая вперед. – Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оногo в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?!

– Поняли, ваше благородие! – зашелестели мужицкие губы.

– Благоро-о-оодие?!! – завопил телеграфист. – Меррзавцы!!!
Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:

– Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

– Осел!!! – рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый как лунь и глупый как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

– С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!

Четверо

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена – Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель – Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная – дорожная – скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

– Нам еще ехать пять часов, – сказала Симочка, сладко зевая. – Пять часов отчаянной скуки!

– Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, – наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

– И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

– Уже я не говорю о плацкарте!

– Главное, что скучно! – стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили:

– Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... Оттого, что все вы – не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

– То есть как мы не те? – обиженно возразил Сандомирский. – Мы вовсе – те. Я, как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

– Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы – кто вы такой?

– Я? – поднял брови Сандомирский. – Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.

– Ах-ха-ха-ха! – закатился смехом незнакомец. – Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

– Ватикан? – пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. – Я Ватикан?

– Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

– Извините, – сказал Сандомирский. – Но эти шутки мне не надо!

II

– Джузеппе! – серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. – Ты меня не обманешь! Вместо плутовых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

– Пустите меня! – в ужасе закричал Сандомирский. – Что это такое?!

– Тссс! – зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. – Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

– Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест

незнакомца пригвоздил его к месту.

– Господа! – сказал странный пассажир. – Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался – кто он такой?

– Я Сандомирский! – прошептал белыми губами коммивояжер.

– Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

– Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

– Я же не кардинал!! – в отчаянии прошептал Сандомирский.

– Он стесняется сказать вам, что он кардинал, – заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. – Но, вероятно, он кардинал.

– Не правда ли?! – подхватил незнакомец. – Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

– Есть! – с готовностью отвечал Четвероруков. – Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

– Пусть он скажет! – капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

– Ну хорошо! – закричал Сандомирский. – Хорошо! Ну, я кардинал.

III

– Видите! – сделал незнакомец торжествующий жест. – Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца. Симочка фыркнула.

– При чем тут смех? – обиделся Сандомирский. – Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

– Нет, я вас не пушу, – сказал пассажир. – Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими

прихожанками.

– Какие прихожанки? Какая может быть интриж... При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

– Ну, были интрижки, – стоит об этом говорить...

– Говорите!! – бешено закричал незнакомец.

– Уберите ваш пистолет – тогда расскажу. Ну, что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

– Графиня? – спросил пассажир.

– Ну, графиня. Вася, говорит, я тебя так люблю, что ужас. Целовались.

– Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

– Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень...»

– Что вы путаете, – сурово перебил пассажир. – Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

– Ну какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

– Исповедаться! – поправил незнакомец.

– Ну исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

– Ужасно плутый роман! – бесцеремонно заявил незнакомец. – Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

– Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четвероруков побледнел и робко спросил:

– Ка... кой ддар?

– Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

– Вы ошиблись, – насильственно улыбнулся Четвероруков. – Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка...

– Кардинал! – воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. – Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

– Наверное, баритон!

– Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

– Я не умею! – беспомощно пролепетал Четвероруков. – Уверю вас, у меня голос противный, скрипучий!

– Ах-хах-ха! – засмеялся незнакомец. – Скромность истинного таланта! Прошу вас – пойте!

– Уверю вас...

– Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

– Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

– Еще как! – нерешительно сказал Сандомирский.

– Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

– Какая тут скука! – вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель. – Сплошное веселье.

– Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться – все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой – баритоном. Не правда ли, кардинал?

– Вы говорите, как какая-нибудь книга, – печально сказал Сандомирский.

– И самое ужасное, что ложь – во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас – снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе – тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

– Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

– Я... нич... чего... Я сам люблю красоту. Немножко раздеться можно, хе... хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

– Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

– Кардинал! – строго сказал незнакомец. – Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

– Симочка... – пролепетал Четвероруков. – Ты... немножко.

– Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

– Не правда ли, я интересная? – задорно сказала она, улыбаясь углами рта. – Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа – он, вероятно, позволит.

– Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах смотрел на страшного пассажира.

– Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

– Зачем же руку? – болезненно улыбнулась Симочка. – Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

– Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала. Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

– Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет – я застрелю того. Ладно?

– Идите уж себе! – простонал Сандомирский. Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской. Четвероруков взял ее и с недоумением прочел: «Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я – весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала...»

Ложь

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени – и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки – сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около двенадцати, а публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?

– Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или – встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

– Ну как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна? Серафима Петровна удивленно вскинула плечами:

– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.

– Почему она должна была солгать?

– Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне:

– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

– А он все-таки здесь!

– Не понимаю... – пожал плечами студент Конякин. – Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы

меня.

– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился.

– Следят??! Кто следит?

– Эти вот... Сыщики.

– Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, отдельно ответила:

– Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.

– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?

– Что вы говорите?! – изумился Блюхин. – Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

– Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, все как на ладони.

– Мы больше сидели все... около музыки, – сказала Серафима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.

– Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю! Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

– Я уже отдала его слесарю.

– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? – спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

– Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал прекрасный пол.

– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя задержал?

– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

– Как не читал? – обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. – Читал! Именно ей читал.

– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

– Вы что-нибудь спутали, – пожала плечами Серафима Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурина мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.

– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

– Часов в десять-одиннадцать. Драматург всплеснул руками.

– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшурины? Или я незнакомую даму приняла за Марию Александровну? Или, может, я была на катке вчера?.. Ха-ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.

– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – Тото и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.

– Да. С Шемшуриной.

– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

– Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

– Вы этого не сделаете!

– Отчего же не сделать?.. Сделаю!

– Ну милый, ну хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

– Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

– А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы – ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в «ГрандОтеле», а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

– Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

– Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле – она очень богатая – по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в «Гранд-Отеле» у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал: «Да. Вот это ложь!»

Золотые часы

История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, наделала в свое время очень много шума. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.

Тогда перестали волноваться.

Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман и Кантарович – каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.

– Они не правы?! – кричал, трясая седой бородой рыбак Блюмберг. – Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну и они перестали верить.

– Что такое двадцатый век? – обиженно возражал Яша Мельник. – Они говорят, двадцатый век – жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.

– Они разочаровались людьми – нужно вам сказать. Они... как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.

– Скептики? А по-моему, это гениальные люди!

– Шарлатаны!

Дело заключалось в следующем.

Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтора рубля, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и наконец, махнув рукой, сказал:

– Вы, Гендельман, упрямый как осел. Ну, так получайте эти двести рублей.

– Где же они? – осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.

– Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.

– Так что же вы их держите в руках? Дайте я их пересчитаю.

– Хорошо, но вы же дайте мне часы.

– Что значит – часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?

– Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.

– Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?

– А спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею?

– Кантарович! Вы мне не доверяете?!

– А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разверился в человеческих поступках.

– Кантарович!!! Вы мне не доверяете?

– Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?

– Я доверяю, но только – двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!

– Что мне думать? Мало я думал! Ну, давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.

– Гм... Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и... татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович... Я теперь уже ничему не верю.

– Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?

– Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег – это будет самый печальный факт.

– Ну хорошо... смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.

– Гм!.. Это ваша рекомендация... А не хотите ли моей рекомендации: пойдём к лавочнику Агафонову и он нам сделает то же самое.

– Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!

– Так Бог с вами, если вы такой – разойдемся!

– Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.

– А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!

– Так мы сделаем вот что, – сказал Кантарович, почесывая затылок. – Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Он лицо официальное!

– Ну, это еще так-сяк.

Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли задумчивые.

– Стойте! – крикнул вдруг Кантарович. – Мы идем к уряднику. Но ведь урядник – тоже человек!

– Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон, к чертям.

Оба приостановились и погрузились в раздумье. По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:

– Что с вами?

– Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель? Спрашивается?

– Доверьте становому приставу.

– Благодарю вас, – усмехнулся Кантарович, – сами доверьте становому приставу.

– Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев, – сейчас же и вышлет. Знаете что? Доверьте мне!

– Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.

– Это верно, – подтвердил старый Блюмберг, – без векселя никак нельзя!

– Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?

– Вы, Яша, не жулик, – возразил Гендельман. – Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?

– Да, – подтвердил недоверчивый Кантарович. – Почему?

Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.

Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.

– Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.

– Мы вам доверяем, Григорий Соломонович... Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести – часами. Подумайте сами.

– Положим, верно... Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу.

– Нате вам! К нотариусу. А нотариус – машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!

Комбинаций предлагалось много, но так как сумма – двести рублей – была действительно неслыханная – все комбинации рушились.

* * *

Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год... Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.

О сложном, запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать... Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:

– Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.

Веселый вечер

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто. Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попок и любви, несмотря на свои двадцать пять лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:

– Мужчина... Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик – очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право. А?

И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городского, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот – он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.

– Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право. А?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и с видом шутника, баловня дам, спрашивал:

– А может быть, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?

И она раскрывала рот, схватывалась за бока и хохотала вместе с веселым прохожим, крича:

– Ой-ой, чудак! Уморил... Ну, и скажет же...

В общем, ей совсем не было так весело, как она прикидывалась, но, может быть, веселый прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной и водкой, что, принимая во внимание сырую погоду, было бы совсем не плохо.

Сегодня прохожие были какие-то необщительные и угрюмые, – несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение поужинать совместно ветчиной и водкой посылали ее ко «всем

чертям», а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно. Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые ругательства, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время навстречу шли два господина. Один приостановил своего спутника и указал ему на девицу:

– Давай, Вика, ее пригласим.

Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед. Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.

– Сударыня, – сказал Петерс, – приношу вам от имени своего и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытные. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, просто, скромно и интеллигентно.

Девица захохотала, взявшись за бока.

– Ой, уморили! Ну и комики же вы! Господин по имени Петерс всплеснул руками:

– Это очаровательно. Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?

Вика кивнул головой.

– Настоящая воспитанность именно в этом и заключается: простота и безыскусственность. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам нескромное одно предложение...

– Что такое? – спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.

– Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...

– Мы даем вам слово, – заявил Петерс, – что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.

Девушка хотела хлопнуть себя по бедрам и крикнуть: «Ой, уморили!» – но руки ее опустились, и она молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.

– Что вам нужно?

– Ради бога, – засуетился Вика, – не подумайте, что мы хотели употребить во зло ваше доверие, но... скажите... Не согласились бы вы отужинать вместе с нами, – конечно, где-нибудь в приличном месте?

– Да, да, – согласилась повеселевшая девушка, – конечно, поужинаю.

– О, как мы вам благодарны!

Петерс нагнулся, взял загрубевшую руку девушки и тихо коснулся ее губами.

– Эй, мотор! – крикнул куда-то в темноту Вика.

Девушка, сбита с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но вместо того к ним подъехал, пыхтя, автомобиль.

Вика открыл дверцу, бережно взял девушку под руку и посадил ее на пружинные подушки.

«Матушки ж вы мои, – подумала пораженная, потрясенная девушка. – Что же это такое?»

Ей пришло в голову, что самое лучшее, в благодарность за автомобиль, обнять Вика за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым из ее знакомых это доставляло удовольствие.

Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:

– А ведь мы еще не знакомы. Моя фамилия – Гусев, Виктор Петрович, а это мой приятель – Петерс, Эдуард Павлович, – писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...

Девушка помолчала.

– Меня зовут Катериной. Катя.

– О, помилуйте, – ахнул Петерс, – разве мы осмелимся звать вас так фамильярно. Екатерина... как по отчеству?..

– Степановна.

– Мерси. Вика... Как ты думаешь, куда мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в «Москву» неудобно.

– Да, – сказал Вика. – Там с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее – к «Контану».

– Прекрасно. Вы, Екатерина Степановна, не бойтесь, туда смело можно привести приличную даму.

Девушка внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные, невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве.

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль: ее серьезно приняли за даму из общества.

У «Контана» заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья были при ярком электрическом свете убийственны, но друзья не замечали этого и, разоблачив девушку, посадили ее на диван.

– Позвольте предложить вам закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы любите вино?

– Люблю, – тихо сказала девушка, смотря на цветочки на обоях.

– Прекрасно. Петерс, ты распорядись.

Весь стол был уставлен закусками. Девушке налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную, прозрачную водку. Девушке вместо шампанского хотелось водки, но ни за что она не сказала бы этого и молча прихлебывала шампанское и заедала его ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ясно выделялись потертые рукава ее кофточки и грудь, покрытая пухом от боа. Поэтому девушка искусственно-равнодушно сказала:

– А за мной один полковник ухаживает... Влюблен – невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.

– Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?

– Никак, они живут в Пскове.

– Вы, вероятно, – сказал участливо Петерс, – приехали в Петроград развлекаться. Я думаю, молодой неопытной девушке в этом столичном омуте страшно.

– Да, мужчины такие нахалы, – сказала девушка и скромно положила ногу на ногу.

– Мы вам сочувствуем, – тихо сказал Вика, взял девицу за руку и поцеловал деликатно.

– Послушай, – пожал плечами Петерс. – Может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты ей руки целуешь, а она стесняется сказать... Мы ведь обещали вести себя прилично.

Девушка густо покраснела и сказала:

– Ничего... Что ж! Пусть. Когда я у папаши жила, мне всегда руки целовали.

– Да, конечно, – кивнул головой Петерс, – в интеллигентных светских домах это принято.

– Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки.

– Вы какая-то скучная, – сказал участливо Вика. – Вероятно, у вас мало развлечений. Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой... Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселей выезжать в театры и концерты.

Девушка с непонятным беспокойством в глазах встала и сказала:

– Мне пора, спасибо за компанию.

– Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле.

– Ой, нет, нет, не надо! Ради бога, не надо. Ой, нет, нет, спасибо!

Когда девушка вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на диван...

...Девушка шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.

Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:

– Мм... мамочка! Идем со мной. Девушка злобно обернулась.

– Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядочной даме на улицу выйти... Сволочь паршивая!

Кривые Углы

Глава первая приезд

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошаадьми и восемь пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрал до усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выплянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, густой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал.

– Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболую я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:

– Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.

– Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы в кончины?

– Нет, – сказал Поползухин. – А ваш мальчик меня языком дразнил!

– Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами... Пойдем... покажу!

Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.

– Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.

– Здравствуйте, сударыня! Я – учитель Поползухин, из города.

– Ну, что же делать? – вздохнула она. – Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!

– Зачем же мне их резать? – удивился Поползухин.

– То-то я и говорю – незачем. От Бога грех и от людей страх. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

Глава вторая

триумф

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.

– Учение – очень трудная вещь, – говорил Поползухин. – Вы знаете, что такое тригонометрия?

– Нет!

– Десять лет изучать надо. Алгебру – семь с половиной лет. Латинский язык – десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.

– Да, теперь народ другой, – сказал он. – Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

– Как играть?

– А так... Прислал мне тесть на именины из города граммофон... Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

– Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!

– Ну? Играете? Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.

– Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак! После отчистите! Послушаем, как оно это... Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне будет играть!

Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.

– Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!

– А вы его не испортите? – испуганно спросил Плантов. – Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усмехнулся:

– Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели!

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку».

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хладнокровием

опытного, выдавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:

– Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.

Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

Глава третья

светлые дни

Для гимназиста Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

– Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего в самом деле?

– Да ничего сейчас не могу! – манерничал Поползухин.

– Почему не можете?

– А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.

– А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне... Ну, сыграйте сейчас!

– Эх! – качал мохнатой головой Поползухин. – Что уж с вами делать! Пойдемте!

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не

прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя – при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

– Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

– Кушаете? А что, в самом деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдём-ка, вы мне поиграете что-нибудь. А?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.

Глава четвертая

крах

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

– Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине играть.

– А ну его к черту! – морщился Поползухин. – Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!

– Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.

– Скажите, вечером поиграю!

Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку», – заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

– Да что ж тут мудреного? – говорил он. – Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.

– Зачем вы без меня трогали граммофон? – сердито крикнул Поползухин.

– Смотри, какая цаца! – сказал ядовито помещик Плантов. – Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты... карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:

– Ну, брат, довольно тебе шалберничать... нагулялся!.. Учитель, займитесь!

Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:

– Пойдем!

И они пошли, не смотря друг на друга... По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.

День человеческий

дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка – глупая, толстая женщина – держит чашку, оставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

– Как вы нынче спали? – спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

– Прекрасно. Вы всю ночь мне грезилась.

– Ах ты Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо...

– Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно – вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал – ликование и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

– Я вас не понимаю...

– Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-богу, лично против вас я ничего не имею... простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить – сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо», – вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», – хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

– Дни теперь стали прибавляться, – говорит наконец она, смотря в окно.

– Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

– Вы тяжелый грубиян и больше ничего.

– Ну как же так – и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом. Я одеваюсь и выхожу из дому.

на улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

– Как поживаете, что поддельваете?

И делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

– Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное – оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

– Да... Так о чем я, бишь, говорил... Беру зеркало, смотрю в горло – красноты нет... Думаю, пустяки – можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

– Извините, – страдальчески говорит Хрякин, – мне нужно спешить...

– Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поддельваю. А поддельваю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да... Что поддельваю? Еду я вчера к Кокуркину, справится насчет любительского спектакля – встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте, – говорит, – завтра к нам»...

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натываюсь на другого знакомого – Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

– Здравствуйте. Что новенького?

– А как же, – говорю, вздыхая. – Везувий вчера провалился. Читали?

– Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

– Нет, не курю.

– Счастливый человек. Деньги все собираете?

– Нет, так.

– По этому поводу существует...

– Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» – «Нет». – «Значит, есть домик?» – «Нет». – «Ха-ха!» Да?

– Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

– Как поживаете?

- Ничего себе. Вы как?
- Спасибо. До свидания. Заходите.
- Зайду. До свиданья. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

- А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!
- Почему – черти побрали?
- Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.
- Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?
- Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Отец

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кричущих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное гремящее и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы – но тоже они были както ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.

– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь...

– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения – тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?

– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к парходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины какихто голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубкой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топание многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

– Что это такое? – с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

– Ну? – торжествуя обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?

– Да для чего она? – спросила мать.

– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша – льстец, гипперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

– Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

– Ха-ха-ха! – торжествуя захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

– Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник

поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного раковины, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его раковины и говорил:

– Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого раковины. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружил с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала...

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный раковинкой, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же раковинка вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую

покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика.

– Что это? – с тайным страхом спросила мать.

– Лампа, – весело отвечал отец.

– А я думала – тумба для афиш.

– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

– Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.

– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя? Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоять такая лампа?

– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

– Много ты понимаешь! – растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начал, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

– Что еще? – выскочила мать.

– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, окошел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаюсь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часыгодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые выпускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашенных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.

– Продала.

– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.

– Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

– Много ты понимаешь! Теперь он умер, мой отец.

Корибу

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей, и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

– Вы редактор?

– Редактор.

– Ей-богу?

– Честное слово!

Он замолчал, пугливо поглядывая на меня.

– Что вам угодно?

– Кроме шуток – вы редактор?

– Уверю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

– Не губите меня, – сказал молодой человек. – Если вы сболтнете – я пропал!

Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью – бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

– Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горячими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку. Вот какое странное произведение было на ней написано.

«Африканские неурядицы»

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными – все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры)

имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья Далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседа в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы, будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

– Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

– Да... – робко кивнул он головой.

– Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

– Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.

– Какой вздор и какая нелепость, – возмутился я. – К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто – описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание,

продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

– Я думал, так безопаснее...

– А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто – наложил печати?

– А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? – прищурился молодой человек.

– Вы меня извините, – сказал я. – Но тут у вас есть еще одно место – самое чудовищное по ненужности и вздорности... Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

– А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так – нука – пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

– Бедные мы с вами... – прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки – и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал... И так плакали мы все.

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

Хлопотливая нация

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бежит из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты», – думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма.

– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

– Похлопочи? Как так похлопочи?

– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удастся жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.

– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.

– Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы... У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

– Ну, что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я. С этим решением я и поехал в Крым.

* * *

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

– По какой причине?

– На основании чрезвычайной охраны.

– А по какой причине?

– На основании чрезвычайной охраны!

– Да по ка-кой при-чи-не?!!

– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что – это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:

– Могу.

Но вместо этого сказал:

– Удивительная публика... Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.

– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрецины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смиренько смотреть на птичек, собирать цветные камушки... Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.

Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:

– Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру... Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:

– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.

Я с суевренным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да, ну вас к...

Я уехал.

* * *

Теперь я совсем сбился:

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно «хлопотать».

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о радиации – тоже хлопчат. И револьвер купить – тоже.

Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему – мне говорят – об этом не надо хлопчат? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопчат не стоит!

Да я хочу хлопчат!

Почему револьвер купить – нужно хлопчат, а галстук – не нужно? Лекцию о радиации прочесть – нужно похлопат, а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопчат, и – о чем не нужно? Почему просто «о радиации» – нельзя, а «Радий в чужой постели» – можно?

И сижу я дома в уголку на диване (кстати, нужно будет похлопат: можно ли сидеть дома в уголку на диване?) – сижу и думаю:

– Если бы человек захотел себе ярко представить Россию – как она ему представится?

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопчат».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопчат: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...

Нужно будет похлопат об этом.

Петухов

I

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому.

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля – Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова – он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла – такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла – их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

– Как жарко!

– Да, – опустив веки, согласилась соседка. – Очень. В горле пересохло до ужаса.

– Выпейте лимонаду.

– Неудобно идти к буфету одной, – вздохнула красивая дама.

– Разрешите мне проводить вас. Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали, как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

– Неужели мы так больше и не увидимся? – с легким стоном спросил Петухов. – Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

– Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем. Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

– Ах, ах! Умоляю вас – где же мы увидимся?

– Нет, нет, – усмехнулась брюнетка. – Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

– Ага! – вскричал Петухов. – О, спасибо, спасибо вам.

– Я не знаю – за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, – и уехала.

II

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

– Где ты была сегодня вечером?

– В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

– Одна?

– Нет, с Марусей.

– С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

– Я тебя не понимаю.

– Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

– Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

– Э, матушка! Я не сомневаюсь – ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакое какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь – он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты,

конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! Пока конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла и – согласись, это очень возможно – ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) – вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко», – говорит он. «Да, – простодушно отвечаешь ты. – В горле пересохло...» – «Не желаете ли стакан лимонаду?» – «Пожалуй...»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

– Леля, – простонал он. – Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже – негодяй! – при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила – я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

– Что с тобой, глупенький? – удивилась жена. – Ведь этого же всего не было со мной...

– Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

III

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

– Вы? Каким образом?

– Позвольте быть вашим кавалером?

– О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

– Милая! – прошептал он еле слышно. – Как мне хорошо...

– Тсс... – улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. – Таких вещей замужним дамам не говорят.

– Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

– Вы с ума сошли! А кухня! А... вообще...

– «Вообще» – вздор, а кухню домой отправим.

– Нет, и не думайте! Она меня не оставит! Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

– Когда? Когда?

– Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

– Спасибо!..

– Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

– Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

– Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое – уютно?

– Солнце мое лучистое! – уверенно сказал Петухов.

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

– Где ты был?

– Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

– Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки – прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

– Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

– Что?

– Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полупознакомым пройдохой. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

– Ты... в своем уме?

– О-о, – горько засмеялся Петухов, – к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он, – не будь дурак – сейчас тебе:

«Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

– Не согласишься... «Я, – скажешь ты, – замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!» Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин – ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

– Спите? – прошептал он. – Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия – они утомляют!!

– Милый, что с тобой? Ты бредишь?

– Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретила с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать – это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба...

– Саша!!

– Что там – Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

– О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бессцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты – чистая, добродетельная женщина только и

находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот – гибнет все! Ты уже не та моя Леля какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватаящим за душу голосом.

V

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

– Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, – чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшемся рыжеволосым сыном Марса – это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и – не буду скрывать – даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

– А что – кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

Случай с Патлецовым

Глава первая

ключи

Однажды летом, в одиннадцать часов вечера, супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры и ругались.

– В конце концов, – пробормотал Патлецов, – это уже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине – и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее.

– Молчал бы лучше, – угрюмо отвечала жена, – уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся.

– В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе, – обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как никого другого поблизости не было, – представьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне двери. Как вам это покажется! И, представьте, чем эта женщина оправдывается. «А вы, – говорит, – картежники». Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:

– Скажи: чего ты от меня хочешь?

– Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру.

Жена задумалась.

– Это ты виноват. Ты отпустил прислугу до завтра – ты и виноват. Если бы она была внутри – она бы открыла нам.

– Видели? – обратился к своему единственному другу – столбику – Патлецов и заскрежетал зубами. – Я виноват, что отпустил прислугу. А она ее нанимала, – значит, она и виновата. А та заперла черный ход, – она, значит, и виновата. А какой-то глупый англичанин изобрел английский замок, – он и виноват.

– Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж. Если бы не вышла – ничего бы не было.

– Что?.. Как вам это нравится?

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, на площадке лестницы, у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично. За второй проект автор его удостоился краткого слова:

– Ду-рак!

– Ну, что же, – кротко улыбнулся Патлецов. – Если я дурак, а ты умная, – придумай сама выход. А я вздремну.

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

– Ты чего?

– Мне страшно. Ступай за слесарем.

– Да какой же слесарь в двенадцатом часу... Все честные слесаря спят...

– Бери хоть нечестного. Мне все равно. Муж улыбнулся.

– Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками – он оборудовал бы это моментально.

– Поймай вора.

– Что ты, милая!.. Как же это так... поймай вора! Что это – блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной и скверной репутацией.

Сначала то, что думал Патлецов, показалось ему невероятно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.

Он сказал, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава вторая

«назарет»

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную липкую дверь.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему.

– Не могу я навести у вас справочку?

– Ну, – сурово и подозрительно кивнул одноглазый.

– Мне нужен слесарь. Нет ли здесь... между вашими... гостями слесаря?

– А вам для чего?

– Ключи от дверей потеряли. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

– Бог их знает... Все они слесаря так или иначе. Ходят тут всякие.

– Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю. Я заплачу ему.

– Вот туда идите, – ухмыльнулся буфетчик. – Видите, в углу роятся. Только меня не путайте. Может они и не возьмутся. Мне-то что!

В углу сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя – Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

– Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

– Да мы всегда честно рубли зарабатываем, – с болезненным самолюбием вора проворчал Аркашенька.

– И прекрасно. Мне нужен слесарь... Ключи от дверей забыл. Так нужно открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

– Не занимаемся.

– Как же так? Мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой, бритый парень с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

– Да как же так: ночью идти в чужую квартиру, отмыкать какие-то двери – бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

– Да я хозяин квартиры, – загорячился Патлецов. – Понимаете, хозяин квартиры. И я вам разрешаю... Мало того, я даже прошу вас об этом. Вы меня выручите... Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?

– Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? – спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

– Заперто уже все. Господи! А мне сказали, что тут, в «Назарете», можно найти... этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру! Мы бы с женой вам были очень благодарны, чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина, будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебания раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

– Идите вперед. Я... сбегая за инструментом и догоню вас.

Глава третья

мишка саматоха

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

– Нашел. Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в сукне были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический звон. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил суконку на подоконник и развернул ее.

– О-ой, что это, – с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, – зачем так много?

– Инструменты, сударыня, – снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха. – Разные тут.

– А это что?

– Это английский лобзик, – стал объяснять польщенный вниманием Мишка. – Пилочка такая... Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

– А зачем чтоб не слышно было? – спросила жена. Патлецов и Саматоха перекинулись быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

– Это, изволите ли видеть, американский ключ – последнее слово техники. Со вставными бородками: можно вставить какую угодно, вот набор бородок.

Невыносимо алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста.

– Ну, а как же вы откроете нашу дверь? – спросил Патлецов. – Этим, что ли?

– Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворнее и с блеском.

– Только он не будет уже больше годиться, – предупредил он, – ничего? Английские замки нужно, видите ли, ломать снаружи, чтобы открыть.

– Все равно, – нетерпеливо сказал Патлецов. – Лишь бы попасть домой.

– Слушаюсь!

Послышался треск. Саматоха, с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание госпожи Патлецовой, с любопытством глядевшей на его работу.

И сам Патлецов был невероятно заинтересован. Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.

– Пожалуйста-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты Саматоху и сказал ему:

– Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городской.

– А-ах! – крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

– Вот что, милый мой, – строго обратился к нему Патлецов. – Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком большая персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного. Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении. Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом – благодарю покорно! Да я ночей не буду спать!..

Когда Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.

Яд (Ирина Сергеевна Рязанцева)

Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какуюто ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

«Милые руки, – с умилением подумал я. – Милые, дорогие мне глаза!»

И неожиданно я сказал вслух:

– Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятьях.

– Наконец-то! – сказала она, слабо смеясь. – Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

– Молчи! – сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

– Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая – помнишь? – тоже так, со слабо сорвавшимся криком «наконец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя.

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего матерьяла.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

– Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

– Видишь ли, – сконфуженно объяснила она, – ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.

– Как... должен? – изумился я. – Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама...

– Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея – узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:

– Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом... (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того – хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал

себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».

– Странно, – сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.

* * *

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранджокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то – ха-ха! – висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

– Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко... – Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: – Нет! Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

– Замолчи! – нервно говорил я. – Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов – Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную».

Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

* * *

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

– Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.

– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!

– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в

нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ неприятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я мимо ушей.

* * *

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду. Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» – выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и подмигнув сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это правилось больше прежнего: «О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением

бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

– Здравствуй, старый, толстый дурачок! Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

* * *

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штук Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно, прачке:

– Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете – не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.

– Ирина, – шептал я, – настоящая Ирина.

А впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

Смерть девушки у изгороди

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе, у изгороди, стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства.

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города.

С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность – городская женщина. Глаза ее ни на секунду не устремляются в беспредельную даль. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин.

На этой городской женщине я изучил женщин вообще – и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей неременным условием – не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:

– А кем же ты будешь считать меня?

– Я буду считать тебя существом выше человека, – предложил я, – существом особенным, недостижимым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама – какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

– Очень странно! Если у меня нет усов и бороды...

– Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины, – это вздор. Просто мы разные – и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом – ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.

– Ну, поцелуй меня, – сказала женщина.

– Это можно. Сколько угодно. Мы поцеловались.

– А ты меня будешь уважать? – спросила она, немного помолчав.

– Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать – ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз – когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие

причудливые банты на ночной сорочке.

– Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности – кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?

– Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ног не могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится, – сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

«Выдумаю-ка я для них башмаки», – решил в пылу своей работы этот таинственный человек.

За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

«Гм, – думает этот человек, – башмак хорошо-с!»

Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и – бедная, доверчивая, обманутая женщина обута.

«Ничего, – злорадно думает этот грубый таинственный человек. – Сносишь. Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие, плотные. Хорошо-с.

Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра».

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается.

«Носи, носи! – усмехается суровый незнакомец. – Я тебе и шляпку выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя держит».

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

– Вот, – сказала мне продавщица, – модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

– Что это?

– Это, *monsieur*, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки.

– А есть у вас клей, – спросил я с тонкой иронией, – для приклеивания на место выпавших волос?

– На будущей неделе получим, *monsieur*. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?

– Благодарю вас, – холодно сказал я, – я предпочитаю сделать это с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

* * *

Живя у меня, городская женщина проводила время так.

Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был невиноградный сезон, то что-нибудь другое – плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.

Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.

– Почему тебя интересуют именно турки? – спросил я однажды.

– Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне.

Через пять минут она заливалась слезами:

– Зачем ты ее купил?

– А что?

– Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!

– Ну, еще что?

– Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в этом раскаешься.

– В чем?

– В этом.

Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

– Луша, – спрашивала горничную жившая у меня женщина, – зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

– Он не заходил.

– Ступайте.

– Это еще что за штуки? – кричал я сурово.

– Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

– Дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.

* * *

Недавно я пришел к ней и сказал:

– Ну вот я и разлюбил тебя.

– Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!

– Мне не нравятся городские женщины, – откровенно признался я. – Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытацишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня если не физически, то взглядами,

желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок... К черту приборы для вынимания соринки из глаз!

– Ну, поцелуй меня, – сказала внимательно слушавшая меня женщина.

– Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.

– И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает, что кроме его и нет никого. Не беспокойся, милый! Поманю – толпой побегут.

– Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай.

* * *

На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опирающуюся на изгородь... Я упал перед ней на колени и заплакал:

– Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

– Встаньте. Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы.

– У меня было прошлое. У меня была женщина.

– Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне – у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:

– Не надо, не надо!

Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил, – с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накали у меня на глазах, когда я мимоходом киднул взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное.

Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в шумный, громадный город.

– Она здесь? – неожиданно спросила меня моя спутница.

– Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом – это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.

– Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?

– Да так просто.

– Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!

Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.

– Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.

– Зайдем. И мне нужно кое-что. В магазине она спросила:

– У вас есть маленькие кружевные зонтики? Я побледнел.

– Милая... зачем? Они так неудобны... лучше большой.

– Большой – что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики! Это не деревня. Послушайте. У вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках... не те, выше, еще выше.

Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

Modes et robes.^[6]

Девушка отошла от изгороди и – умерла.

История болезни Иванова

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

– Что с тобой? – спросила жена.

– Плохо! – сказал Иванов. – Я левею.

– Не может быть! – ахнула жена. – Это было бы ужасно... Тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

– Нет... что уж скипидар! – покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. – Я левею!

– С чего же это у тебя, горе ты мое?! – простонала жена.

– С газеты. – Встал я утром – ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

– Ну?

– Смотрю, а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг – чувствую я, что мне его не хватает...

– Кого это?

– Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

– Ты б молочка выпил... – сказала жена, заливаясь слезами.

– Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

– Левеешь?

– Левею...

– Может, доктора позвать?

– При чем тут доктор?!

– Тогда, может, пристава пригласить?

Как все больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

– Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

– Дай-то Бог, – всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.
Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась.
Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

- Еще полевел! Что оно будет – не знаю!
- Опять небось газету читал, – вскочила жена. – Говори! Читал?
- Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

- Мой-то... – сказала она, ломая руки. – Левеет.
- Быть не может?! – воскликнул тесть.
- Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка, и полевел!
- Надо принять меры, – сказал тесть, надевая шапку. – Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.

Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

- Ну, как наш дорогой больной?
- Левеет!

– А-а! – сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза. – Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

– Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

– Октябристом, – вздохнул Иванов. – До обеда – правым крылом, а после обеда – левым...

– Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

– Я, собственно, – сказал Иванов, – стою за принудительное отчуждение частновладельч...

– Позвольте! – удивился пристав. – Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

– Значит... я уже кадет!

– Все левее?

– Левою. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левою.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.

– Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

– Господи! – вскрикнула несчастная женщина. – Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

– Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! – проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. – Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

– Кончено! – прошептал он, благоговейно снимая шапку. – Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми. В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

– Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

Октябрист Чикалкин

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюге, с целью сообщения избирателям результатов о деятельности его, Чикалкина, в Думе, не может быть разрешено.

– Почему? – спросил изумленный Чикалкин.

– Потому. Неза разрешенные собрания воспрещаются!

– Так вы бы и разрешили! Околоточный снисходительно усмехнулся:

– Как же это можно: разрешить неза разрешенное собрание. Это противозаконно.

– Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неза разрешенным, – сказал, подумавши немного, Чикалкин.

– Так-то оно так, – ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. – Да как же его разрешить, если оно пока что неза разрешенное? Посудите сами.

– Хорошо, – сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. – Мы внесем об этом в Думе запрос.

– Распишитесь, что приняли к сведению, – хладнокровно кивнул головой околоточный.

* * *

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

– Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно! Запрос надо формулировать так: «Известно ли... и тому подобное, что администрация города Битюга своими незакономер...»

Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

– Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: «Известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр...» А что такое ошибочные? Ошибка – не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я, в самом деле, дурак...

Запрос! Запрос! Не буду же я один его вносить. А фракция – вдруг скажет: несвоевременно! Ну конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру такое официальное письмо...

* * *

Октябрист Чикалкин сел за стол.

«Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...»

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

«... что произвол властей...»

В столовой гулко пробило половину третьего.

«... что произвол властей, которые...»

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

«... что произвол властей, которые...»

Стало смеркаться.

«Которые... произвол, котор...»

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

«А что, если...»

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

– Положим... Не может быть!.. А вдруг! Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и, наконец, всплеснув руками, сказал:

– Ну конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае – припугнуть.

* * *

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

– Извозчик! К исправнику! Знаешь?

– Господи! – с суеверным ужасом сказал извозчик. – Да как же не знать-то! Еще позавчера оны меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не знать. Скажут такое.

– Что же он – строгий? – спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

– Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить – строгий человек. И-и! Порох! Чиновник мне один анадьсь сказывал... Ему – слово, а он сейчас ножками туп-туп да голосом: «В Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!»

– Что ж он – всех так? – дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

– Да уж такие господа... Строгие. Если что – не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

– Ты меня куда везешь-то? – неожиданно спросил он извозчика.

– Дык сказывали – к господину исправнику...

– Дык сказывали! – передразнил его Чикалкин. – А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю – вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

* * *

– Да, брат, – заговорил Чикалкин, немного успокоившись. – В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики, ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция – ей бы только придраться. Уже... приехали?.. Что так скоро?

– Старался, как лучше.

– Могу я видеть пристава? – спросил Чикалкин, входя. – То есть... господина пристава... можно видеть?

– Пожалуйте.

– Что нужно? – поднялся навстречу Чикалкину грузный человек с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

– Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога.

– Э, черт! – отрывисто вскричал пристав. – Шляются тут по пустякам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов,

дубина стоеросовая! Проводи.

Мой сосед по кровати

Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В 2 часа ночи вся эта усталая, нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек – в четырех свободных комнатах.

Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человечка из числа остающихся и сказала:

– А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семеныч.

Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но по осмотре маленького незнакомца решил, что если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее.

– Пожалуйста!

– Вы ничего не будете иметь против? – робко осведомился Максим Семеныч.

– Помилуйте... Почему же?

– Да видите ли... Потому что компаньон-то я тяжелый...

– А что такое?

– Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю, а вы паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да об том?

– Наоборот. Я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых.

– А коли так, так и так! – облегченно воскликнул Максим Семеныч. – Одно к одному, значит. Хе-хе-хе...

Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал:

– А ведь знаете, есть люди, которые органически не переносят молчания. Я потому вас и спросил давеча. Меня многие недолюбливают за это. Что это, говорят, молчит человек, ровно колода...

– Ну, со мной вы можете не стесняться, – засмеялся я.

– Ну, вот спасибо. Приятное исключение...

Он снял один ботинок, положил его под мышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбнувшись, сказал:

– Помню, еще в моей молодости был случай... Поселился я со знакомым студентом Силантьевым в одной комнате... Ну, молчу я... день, два – молчу... Сначала он подсмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто, потом стал нервничать, а под конец ругаться стал... «Ты что, – говорит, – обет молчания дал? Чего молчишь, как убитый?» – «Да ничего», – отвечаю. «Нет, – говорит, – ты что-нибудь скажи!» – «Да что же?» Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку да и говорит: «Эх, – говорит, – с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать». А я ему говорю: «Драться нельзя». Помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом! «Будь ты, – говорит, – проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой!.. Не знаю, – говорит, – в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю!» И что же вы думаете? – Мой сосед тихо засмеялся. – Ведь сбежал. Ей-богу, сбежал.

– Ну, это просто нервный субъект, – пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную постель.

– Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «Мне, – говорит, – нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом, как только приду – уже спрашивать начала: «Чего вы все молчите?» – «Да о чем же говорить?» – «Как! Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» – «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». – «Мне, – говорит, – страшно с вами. Вы все молчите...» – «Такой уж, – говорю, – я есть – таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сидит-ит, разливается! Я, говорит, видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения? И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно... А она все к нему так и тянется, так и тянется... Мне-то что... сижу – молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться... Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, – говорит, – чего тут надо?» – «Как чего? Марию Петровну хочу видеть». – «Пошел вон! – говорит мне

этот проклятый юнкеришка. – А то я, – говорит, – тебя так тресну, если будешь еще шататься». Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери: «Вы мне, – говорит, – не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница...» Дура! Взял я да ушел.

Я сонно засмеялся и сказал:

– Да-а... История! Ну, спокойной ночи.

– Приятных снов! Вообще, у мужчины хотя логика есть по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет... Дело прошлое – можно признаться – был у меня роман с одной замужней женщиной... И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, «что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюсь»... Три дня она меня только и вытерпела... Взмолилась: «Господи, Создатель! – говорит. – Пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, – говорит, – со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, – говорит, – и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях... Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.

– Действительно, – поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. – Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.

– Ну? Пора на боковую.

Он неторопливо снял второй сапог и сказал:

– А один раз даже незнакомый человек на меня освирепел... Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке, сижу молчу...

Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.

– ...Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» – «Да». – «То есть как – да?»...

– Хрррр-пффф!

– Гм! Что он, заснул, что ли? Спит... Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил... Как только ляжет –

сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать... Со мной-то не наговоришься – хе-хе!

Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:

– Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.

Он недоумевающе повернулся ко мне:

– Почему?

– Да вы без умолку рассказываете.

– Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди... Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» – «Грешен». – «А чем?» – «Мало ли!» – «А все-таки?» – «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец...

– Слушайте! – сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. – Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать – тем хуже.

– Почему? – спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. – Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор... Зовет меня к себе... Настроение у него, очевидно, было самое хорошее... «Ну, что, – спрашивает, – новенького?» – «Ничего». – «Как ничего?» – «Да так – ничего!» – «То есть позвольте... Как это вы так мне...»

– Я сплю! – злобно закричал я. – Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!

Он развязал галстук.

– Спокойной ночи. «...Как это вы так мне отвечаете, – говорит, – ничего! Это невежливо!» – «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» – «Нет, – говорит, – все имеет свои границы... можно, – говорит, – быть неразговорчивым, но...»

Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.

Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.

Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:

– «Я, – говорит, – буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного, безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите?» – «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»

Законный брак (Стихотворение в прозе)

На берегу суетилась кучка людей...

Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, которая лежала, худая, мокрая в купальном костюме, с закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.

– В чем дело? – спросил я.

– Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.

– Нужно растереть ее, – посоветовал я.

На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он махнул рукой и сказал:

– Не стоит. Все равно ничего не поможет.

– Да как же так... Попробуйте устроить искусственное дыхание... Может, отойдет.

– Мм... не думаю. Не стоит и пробовать, – сказал толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.

– Но ведь нельзя же так... сидеть без толку. Пошлите за доктором!

– Стоит ли, – сказал толстяк. – До доктора три версты, да еще, может, его и дома нет...

– Но... попытаться-то можно?!

– Не стоит и пытаться, – возразил он. – Право, не стоит.

– Я удивляюсь... Тогда одолжите нам вашу простыню: попробуем ее откачать!

– Да что ж ее откачивать, – сказал толстяк. – Выйдет ли толк? Все равно уж... Будем считать ее утонувшей... Право, зачем вам затрудняться...

– Вы жалкий, тупой эгоист! – сердито закричал я. – Небось если бы это был вам не чужой человек, а жена...

Он угрюмо посмотрел на меня.

– А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена... Моя жена!

Робинзоны

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский – интеллигент.

Пров Иванов Акациев – бывший шпик.

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

– Ваш паспорт!

Голой Нарымский развел мокрыми руками:

– Нету паспорта. Потонул. Акациев нахмурился.

– В таком случае я буду принужден... Нарымский ехидно улыбнулся:

– Ага... Некуда!..

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

* * *

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что делаете? Нарымский улыбнулся:

– Предварилку строю.

– Нет, нет... Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

– Ничего я не знаю.

– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

– Отстанете вы от меня?..

– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжело вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегающую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

– Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

– Чего вы пристаёте? Занимались бы лучше своими делами.

– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.

– Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

– За находку вы имеете право лишь на одну треть... – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!

– Почему это?

– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

* * *

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел:

«Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.

– Что вам угодно?

– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

* * *

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

– Вы... живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, – и просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутора лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.

«АПОЛЛОН»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

– Как же он... называется? – растерянно спросил я.

– Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

– Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет, – я буду свято хранить его.

– Здесь нет секрета, – сказал приказчик. – Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет, как по маслу.

– Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

– Аполлон – бог красоты и света, а ящерица – символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

Первая статья, которую я начал читать, – Иннокентия Анненского, – называлась «О современном лиризме». Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну – махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сплестила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хоромы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! – думал я. – Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы – вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! – подумал я. – Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье: «О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жаловании у дирекции театра, или актеры будут уравниены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре – простое плавание на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

– Господа! – предложил я. – Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

– То есть?..

– В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за

руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

– Почему вам взбрела в голову такая идея – танцевать? – сухо спросил хозяин дома. – Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла – согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

– А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали? Я пожал плечами.

– Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

– Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

– То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

– Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

– Так – жаловаться?! – гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

– ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

– ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

– Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?.. Я попытался оправдаться:

– Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

– Знаем мы вас, – скептически сказал околоточный. – Напьются, а потом – тирсы!..

Неизлечимые

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».

(Книжн. Известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

– В чем дело?

– Вещь!

– Которая?

– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

– Повесть?

– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

– Еще что? – сухо спросил издатель.

– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди и все заверте...»

– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

– А... еще... вот... Зззб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого.

Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

– Не надо, – сказал издатель.

– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.

– Не надо. Идите, идите с богом.

– В-вам... не нравится? У... У меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

– Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия и все заверте...»

– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.

– Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

– А где тут у вас корзина?

– Вот она, – указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

– О чем нужно?

– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

– А аванс дадите?

– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I

боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

– Ой, ты, гой, еси, – воскликнул он на старинном языке того времени.

– Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте...

II

мухи и их привычки

(Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному – Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Четверг

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

– Едете к Пылинкиным?

– А что? – спросил, покривившись, Андромахский. – Разве сегодня четверг?

– Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся.

– Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, т-те Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, – не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то – что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! «Нет, скажешь, не был». – «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

– Не скажете!

– Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какуюто босоножку. «Видели танцы новой

босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» – «Ах, – скажет игриво м-те Пылинкина, – вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей – кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники? «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чайшко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом пахивает... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны. Ляписов вынул часы:

– Однако уже скоро девять!

– Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

М-те Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

– Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

– Благодарю вас! – ласково наклонил голову Андромахский. – Не откажусь.

– А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

– Где? – спросил Андромахский.

– Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском. На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

– Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты, вообще, мельком просматриваю.

– В газетах теперь нет ничего интересного, – сказал из-за угла чей-то голос.

– Репрессии, – вздохнула хозяйка. – Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

– Не откажусь, – поклонился Ляписов.

– Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

– Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

– Хорошенькая? – игриво спросил Андромахский. Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.

– Ох, эти мужчины! Им бы все только – хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

– Ну, нет, – сказал Ляписов. – Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

– Есть разные женщины и разные мужчины, – послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. – Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

– У меня был один знакомый, – сказала полная дама. – Он был кассиром. Служил себе, служил и – представьте – ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

– А я против женского равноправия! – сказал господин с густыми бровями. – Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера – кухня!

– Извините-с! – возразила хозяйка. – Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

– Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины – все изящное, женственное.

– А, по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое – ноги толстые, и сама скачет, как козел!

– А мне нравится! – сказал маленький лысый человек. – Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

– Чашечку чаю! – предложила хозяйка Андромахскому. – Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

– Мерси. Я, вообще, не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

– Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку – это не может быть вредным.

– Ничем не надо злоупотреблять, – сказала толстая дама.

– Безусловно. Все должно быть в меру, – уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

– Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

– Уже?!? Посидели бы еще...

– Право, не могу.

– Ну, одну минутку!

– С наслаждением бы, но...

– Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог – лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

– Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходящее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово – так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

– Куда это он так вскочил? – спросил голос толстой дамы.

– К жене, – отвечал голос Ляписова. М-те Пылинкина засмеялась.

– К жене! С какой стороны?!

– Что вы! – удивилась толстая дама. – Разве он такой?..

– Он?! – сказал господин с густыми бровями. – Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной – с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

– В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, – сказал лысый старичок.

– К кому?

– Не к кому, а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

– Куда же вы? – послышался голос хозяйки.

– Я и так уже засиделся, – отвечал голос Ляписова. – Нужно спешить.

– Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

– Тссс!.. – прошептал Андромахский, указывая на окно. – Слушайте! Это очень любопытно...

– Какой симпатичный этот Ляписов, – сказала хозяйка. – Не правда ли?

– Очень милый, – отвечал господин с густыми бровями. – Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

– Неприятности! – послышался сочувственный голос толстой дамы.

– Семейные?

– Нет, по службе. Все игра проклятая!

– А что, разве?..

– Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

– Проклятая баба, – прошептал изумленный Ляписов. – Что она такое говорит!

– Хорошее оконце! – улыбнулся Андромахский.

– ...Куда же вы?! Посидели бы еще!

– Не могу-с! Время уже позднее, – послышался голос лысого господина. – А ложусь-то я, знаете, рано.

– Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

– Сейчас о вас будет. Слушайте!

– Я никогда не встречала у вас этого господина, – донесся голос толстой дамы. – Кто это такой?

– Это удивительная история, – отвечала хозяйка. – Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину, между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

– Ах ты дрянь этакая, – прошептал огорченно лысый старичок. – Если бы знал – никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой

человек, – обратился он к Андромахскому, – эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ейбогу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

– А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день? – сурово спросил старичка Андромахский.

– А вы мне очень понравились, молодой человек, – виновато улыбнулся старичок. – Когда зашел о вас разговор – я и думаю: дай сверну словечко!

– Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

– Опять обо мне, – сказал Ляписов. – Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

– Проклятая лягушка! – проворчал Андромахский. – Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

– Ха-ха! – злобно засмеялся старичок. – А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

– Как же! – усмехнулся Андромахский. – Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало – ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

– И он так плуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким ляמידелямезончиком на мази!

– Хе-хе! – тихонько засмеялся Ляписов. – А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил на счет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

– Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассеявшуюся на ступеньках лестницы компанию...

– Я уверен, – говорил увлеченный разговором Ляписов, – что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

– Ну да! – возражал Андромахский. – Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой – и madame Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

– А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же – в будущий четверг!

Виктор Поликарпович

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

– Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городского Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

– Во-первых, – заявляли обыватели, – никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы – показал кулак, что, как известно по городскому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурки папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городского Дымбы заплакал.

– Позвать Дымбу! – распорядился ревизор. Позвали Дымбу.

– Здравия желаю, ваше превосходительство!

– Ты не кричи, брат, так, – зловеще остановил его ревизор. – Кричать после будешь. Взятки брал?

– Никак нет.

– А морской сбор?

– Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

– Превосходно... Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городского Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городского и его высокородия.

– Из... зволили звать?

– Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

– По распоряжению Павла Захарыча, – приободрившись, отвечал Пальцын. – Они приказали.

– А-а. – И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки. – Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает... Хе-хе. Никифоров! Этому – бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

– Павел Захарович? Здравствуйтесь, здравствуйтесь... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

– Гм... Это взыскание-с.

– Знаю, что взыскание. Но – какое?

– Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

– А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

– Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

– Успею. Зачем это я вам понадобился?

– Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

– Как понимать? Очень просто.

– Да ведь моря-то тут нет!

– Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

– Так как же так – «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

– А?

– Я спрашиваю – почему «морской сбор»?!

– Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

– Ну?

– Что «ну»?

– Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

– Никакого моря не улучшали. Это так говорится – «море».

– Ага. А деньги-то куда делись?

– На секретные расходы пошли.

– На какие именно?

– Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!

– Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

– Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся.

– Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

– Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем? Его превосходительство улыбнулся.

– С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

– Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

– Виктор Поликарпович. Была тишина. Семь минут.

Нахмутив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки... И нарушил молчание:

– Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

– Бумажками.

– Ну, раз бумажками – тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм... гм...

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.

– Могу идти? Ревизор вздохнул:

– Что ж делать... Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами. Подошел Никифоров.

– Как с арестованными быть?

– Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

Мужчины

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях... Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие несколько меня не утомило.

...По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.

Машинально я сказал:

– Войдите!

Это была скромно одетая немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:

– Чем могу быть вам полезен?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

– Вот он какой... – пробормотала она. – Таким я его себе почему-то и представляла. Красив... Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

– Я вас не знаю, сударыня! – удивленно сказал я. Она печально улыбнулась.

– И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести с вами длинный разговор.

– Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен... Кто вы? Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

– Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я – мать вашей любовницы!..

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

– Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках, с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаем поступком будет всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову:

– Умерла?! Боже, какой ужас!

– Так вы еще не забыли мою славную дочурку? – растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. – Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад... Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен бы откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

«Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком – огромное незабываемое событие в жизни, которое, по твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. – А я... я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты... была ли это Ася Званцева? Или Ирина Николаевна? Или Вера Михайловна Березаева?»

Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:

– Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери...

– Да что ж рассказывать?... Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов... А тут явились вы – молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении... Помните?

– Помню, – нерешительно кивнул я головой, – как же не помнить!.. Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.

– В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась... Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: «Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один, человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти...»

– Да, это мой приемчик, – задумчиво улыбнулся я. – Теперь я его уже бросил...

– Что?! – переспросила старушка.

– Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я сказал ей.

– Ну вот. Потом вы, кажется, стали целовать ее?

– Наверное, – согласился я. – Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

– Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам, выпить чашку чаю... Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу... Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» – «Да, – сказали вы, – вас оскорбляет такое отношение и вообще вам очень тяжело и вы страдаете». Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично...»

Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете!» Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.

И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:

– Помните ли вы это?

– Помню, – подтвердил я. – А что она говорила, уходя от меня?

– Она говорила: «Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!» А теперь... она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

– О! – порывисто, в припадке великодушия вскричал я. – Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!

– Нет... ее уже ничто не вернет оттуда, – рассудительно возразила старуха.

– Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?

– Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.

– Помните вы это? – спросила дама.

– Помню.

– А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.

– Неужели я предложил ей это? – недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви – дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: «Да! Прощайте!» Очевидно, старуха что-то напутала.

– Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

– Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.

– Мне? – ахнул я. – Да почему?

– Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю...

– Да почему же именно мне? Старуха печально улыбнулась.

– Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому, тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка – вы!

– Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?

– Перед смертью не лгут, – строго сказала старуха. – Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

– А может быть, она ошиблась? – робко переспросил я. – Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

– Милостивый государь! – величаво сказала старуха. – Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!

Нахмурившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее!). С другой стороны, эта неожиданная тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.

Я – отец! У меня – дочь!..

– Как ее зовут? – спросил я разнеженный.

– Верой, как и мать.

– Хорошо! – решительно сказал я. – Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.

– Почему Двуутробникова? – недоумевающе взглянула на меня старуха.

– Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

– Вы... Двуутробников?!

– А кто же?

– Боже мой! – в ужасе закричала странная гостья. – Значит, это не вы?!

– Что – не я?

– Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.

Неожиданная бурная волна залила мое сердце.

– Класевич, – захохотал я. – Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната – номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

– Как же! – тараторил я. – Моя фамилия Двухтробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он – номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич... Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь... А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе... Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич!! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает... Идите, сударыня. Хе-хе... А я-то – слушаю, слушаю...

Чад

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга – постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке. Сзади меня послышался голос:

– Освежиться? На скорую руку?

Оплывшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

– Я тоже зашел на минутку, – сообщил юбилейный друг. – И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

– Можно не снимая пальто?..

– Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

– Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

– Да выпей! Какая там еще рецензия...

– Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

– Глупости, – сказал я, закусывая первую рюмку икрой. – Какие там еще почки?

– Молодец, Сережа! – похвалил меня юбилейный друг. – За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

– Да выпей! – умоляюще протянул я. – Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

– Почему же свинство? У меня почки...

– А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

– Ну, я только одну...

– Не извиняйся! Можешь и две выпить. Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами – и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

– Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

– Bravo! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей – не хаами.

– Я не хам... хамлю, – осторожно произнес странное слово Буйносов. – А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

– Вздор! После напишешь.

– Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

– Ты?! – с радостным изумлением воскликнул юбилейной друг. – Да ты в десять минут отхватываешь такую рецензию, что все охнут!

– Где там... – просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

– Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

– А вы что же думали, – засмеялся Буйносов. – И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

– Я... сейчас, – смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. – Дай ветчину прожевать.

– Не хаами, Сережа, – сказал юбилейный друг. – Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

– Мне бы домой нужно!.. Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов.

– Какое там еще дельце? Вздор – дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, – подумал я, любясь в зеркало на свои блестящие глаза. – Черт с ним, с дельцем!..» Вслух сказал:

– Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

– Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

– ...И пива я бы кружку выпил...

– Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

– Сережа... милый... – сказал Буйносов. – Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

– Да ведь мы и так на «ты»! – засмеялся я.

– Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

– Графинчик водки! – крикнул Буйносов.

– Водку? – удивился я. – После пива?

– Это освежает. Освежимся!

– Неужели водка освежить может? – удивился я.

– Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

– Обедать будете? – спросил слуга.

– Как? Разве уже... обед?..

– Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

– Семь часов?! – всплеснул руками юбиляр. – Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

– Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

– Да, брат... – поддержал и я. – Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

– Мне распорядиться нужно...

– Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул.

– Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

– Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят. Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

– Слушай! Плюнь ты на сегодняшней юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

– Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

– Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилей однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

– Поцелуемся! – вскричал воодушевленно юбиляр. – Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

– Вот это яркий человек! Вот это порыв, – воодушевился Буйносов. – В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

– Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

– Не хамите! – с готовностью сказал юбиляр. – Сейчас бы кюрассо был к месту.

– Почему?

– Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассао был признан единственным могущим освежить нас напитком.....

.....

– Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.
– Вздор! – сказал бывший юбиляр. – Не хаами!
– Извините-с. Я сейчас счет подам.
– Ну, дай нам бутылку вина.
– Не могу-с. Буфет закрыт. Буйносов поднял голову и воскликнул:
– Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...
– Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего – поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

– Пойдем ко мне, – неожиданно для себя предложил я. – у меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

– Освежиться? – спросил юбиляр.

«Как попутай заладил, – с отвращением подумал я. – Хоть бы вы все сейчас провалились – ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты... Не встретить я вас – все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это – что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

– Ну, освежаться так освежаться, – со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), – к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но, тем не менее, в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хаами!» – и с хохотом побежал за нами...

– Вот дурак, – шепнул я Буйносову. – Как так можно свой юбилей пропустить?

– Да уж... Не дал Господь умишка человеку.

«А тебе, – подумал я, – влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко».....

.....
Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он, вообще, не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

– Может, спать хочешь? – спросил я.

– Хочу, но удерживаюсь.

– Почему?

– Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну – хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

– Ну, а я пойду спать, – сухо проворчал я. Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

– Здорово вчера дрызнули, – сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

– Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами... Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех трех самым непостижимым, самым отвратительным образом...

Один город...

I

Считается признаком дурного тона писать о частной жизни лиц, которые еще живы и благополучно существуют на белом свете.

То же самое можно применить и к городам.

Мне бы очень не хотелось поставить в неловкое положение тот небольшой городок, о котором я собираюсь написать. Именно потому, что он еще жив, здоров и ему будет больно читать о себе такие вещи.

Поэтому я полагаю: самое лучшее – не называть его имени. Жители сами догадаются, что речь идет об их городе, и им будет стыдно. Если же жители других городов, которых я не имел в виду, примут все на свой счет, я нисколько не буду смущен... Пусть! На воре шапка горит.

В том городе, о котором я хочу писать и который не назову ни за какие коврижки, мне нужно было пробыть всего один день.

Подъезжая к нему, я лениво поинтересовался у соседа по месту в вагоне: что из себя, в сущности, представляет этот город?

– Скверный городишко... Мог бы быть красивым и интересным, но городская дума сделала из него черт знает что...

– А почему?

Сосед ехидно подмигнул мне:

– Покрали деньги.

– Кто покрал?

– Да члены думы. А первый вор – городской голова... Такого вора, как ихний городской голова, и свет не производил! Не только все деньги из кассы покрал, но даже самую кассу на куски разломал и домой к себе свез.

– А чего же ихняя полиция смотрит?

– Ихняя полиция? Ха-ха!.. Ихняя полиция... В этом городе такая полиция, что с живого и мертвого взятки дерет...

– Ну уж и с мертвого... – усомнился я.

– А ей-богу. Собираются родственники хоронить покойника, а их сейчас за шиворот: «Стой – куда? Хоронить? А разрешение от департамента торговли и мануфактур имеешь?» – «Нет». – «Ну, вот видишь... Давай десять рублей поспектакльного сбору – тогда волоки». И дают.

– Ну, это вы, кажется, слишком...

– Нет, не слишком! Не слишком... С жидов взяли все, что можно было взять. Теперь русских стали ловить. Поймают: «Ты жид?» – «Нет, не жид!» – «Нет, жид». – «Сколько?» – «Десять». – «Подавись!»
Всего и разговору.

– Но как же при таких порядках могут существовать жители?

Он опять ехидно подмигнул мне.

– Жители? А вот увидите.

В этот момент поезд подошел к городку, имени которого я упорно не хочу называть... Так как вещей у меня с собой почти не было, я решил до ближайшей гостиницы дойти пешком. Взял ручной сак и пошел.

II

Впереди меня шел человек простоватой наружности и вел энергичную беседу с бабой в платке.

– Да ты говори толком – сколько хочешь?

– Да двадцать же рублей! Слепой, что ли? Чистое золото.

– Мало что чистое! Небось украла – дешево досталось! У меня только десятка и есть – хочешь за десятку?

Я приблизился.

– Да вот спросим у барина, – сказал простоватый человек. – Нешто за краденую вещь можно столько просить?

Баба подозрительно оглянулась на меня и спрятала золотые часы под платок.

Простоватый человек дружелюбно нагнулся ко мне и шепнул:

– Дура баба! А не хотелось бы вещицу выпускать... Часы рублей двести стоят, а она двадцать просит. Десятки только у меня и не хватает... Эх, жалость! – И сказал бабе громко: – Так не отдашь за десять? Ну и шут с тобой.

Он махнул рукой и отошел. А я, оставшись с бабой, решил купить дешевые часы.

– Вот что, сударыня, – сказал я. – Если эти часы действительно ваши и если вы считаете для себя возможным отдать за такую цену...

Я вынул бумажник...

Какой-то человек, видом похожий на дворника, спешно приближался к нам, размахивая руками и крича:

– Постойте! Обождите, господин!.. Вы, верно, приезжий?

– Приезжий, – робко отвечал я.

– Оно и видно. Ах ты, старая ведьма! Пошла вон, пока я тебя в участок не отправил! Ну и жулье же, прости Господи!..

Старая баба запахнулась в платок и испуганно убежала, а мой новый знакомый сострадательно посмотрел на меня и сказал:

– Эх вы! Вот бы и влопались, если бы купили часики. Ведь они медные.

– А как же тот человек сам хотел купить...

– Да он ее муж. Вместе работают, по уговору. О-о... Тут нужно держать ухо востро!

Я горячо поблагодарил своего спасителя, а он добродушно махнул рукой и сказал:

– Ну чего там!.. Вы где думаете остановиться?

– Я... еще не знаю.

– У нас во дворе хорошая гостиница. Чисто и безопасно. А в других гостиницах – не только обворуют, а еще и придушить могут.

Я затрясся от ужаса и еще раз пожал руку моему новому знакомому.

– Пойдем, я вас провожу.

Когда мы вошли в арку под воротами, с нами столкнулся солидный, изящный господин в цилиндре.

Он перевел взгляд с моего провожатого на меня и с неподдельным ужасом всплеснул руками:

– Боже мой! Боже мой! Послушайте, господин... На одну минутку...

Он схватил меня за руку и отвел в темный угол.

– Извините, что я так... не будучи представленным... Вы, конечно, приезжий? Я это вижу. Скажите – не приглашал ли вас этот человек в его «гостиницу» и не сулил ли он вам разных благ?

– Да... А что?

– Мой долг, долг порядочного человека, предупредить вас: знаете ли вы, что вас хотели затащить в гнуснейший притон и, напоив, обобрать, избить и выбросить?

О, я такие сцены наблюдал неоднократно!.. И всегда при участии этого негодяя, который вас поджидает у ворот.

– Господи! – застонал я. – Какой ужас! Кому же после этого верить?..

– Совершенно верно. Для приезжего человека – здесь прямо гибель. Всякая гостиница – клоака...

– Ах! Но что же мне делать?

– Если бы мое предложение не показалось вам назойливым... я пригласил бы вас к себе. У меня семейная квартира... Правда, нет той роскоши, как в гостиницах, но моя жена хорошая хозяйка...

– Я не знаю, – горячо воскликнул я, хватая его руку, – чем и отблагодарить вас за такую любезность к почти незнакомому человеку. Спасибо!

– О, не стоит благодарить, – полусмущенно-полусмеясь, покачал головой мой спаситель. – Интеллигентный человек должен помогать интеллигентному человеку. Это как масоны... Не правда ли?

Мы зашагали по улице, и я, чувствуя искреннюю признательность к этому господину, взял его под руку.

На углу двух улиц к нам приблизился молодой, бледный человек в жокейской шапочке, уперся руками в бока и сказал, обращаясь к моему спутнику:

– Здравствуй, карточный шулер Арефьев! Здравствуй, мерзавец Арефьев, обыгравший меня в своем притоне. Что я вижу? Ты поймал приезжего и тянешь его на буксире в свою шулерскую компанию, которую ты выдаешь за свое семейство... По-прежнему ли ты, Арефьев, торгуешь своей любовницей, выдавая ее за жену, и по-прежнему ли ловишь доверчивых простачков вроде этого? Ха-ха-ха!

И бледный человек разразился саркастическим хохотом. Мой спаситель выдернул свою руку из моей и принялся улепетывать вдоль по улице, сопровождаемый свистом и улюлюканьем бледного человека.

– Ах мерзавец... – прошептал он, когда господин в цилиндре скрылся из глаз. – Впрочем, этот город полон негодьями.

Потом бледный господин печально улыбнулся.

– Вероятно, – сказал он, – вы и меня считаете таким же? О, не протестуйте... Вероятно, около вокзала с вами уже пытались проделать фокус с помощью медных часов или подкидки бумажника? И вероятно, вас уже заманивали в какие-нибудь притоны? Я вас понимаю: это город мошенников и поэтому вы должны бы и ко мне отнестись недоверчиво.

III

Он сел на ступеньки подъезда и, опустив бледную голову, тяжело закашлялся.

– Конечно!.. – сказал он, откашлявшись. – Вы вовсе не обязаны верить незнакомому человеку. И у меня нет никаких доказательств в пользу моей порядочности. Но я доволен уж и тем, что вырвал вас из когтей этого негодяя Арефьева! Я не буду приглашать вас ни в гостиницу, ни к себе, но очень прошу вас – не доверяйте и мне! Вы не имеете права доверять мне, неизвестному вам, в городе, где все построено на обмане! Предположим, что я тоже жулик. Но, откровенно говоря, я хотел бы, чтобы вы скорее уехали из этого города!

– Почему? – спросил я.

– Три года тому назад я приехал сюда такой же наивный, доверчивый и простой. Через пять минут я уже был обобран, раздет и вот с тех пор не могу выбраться из этого города, перебиваясь с хлеба на квас. О, ради Бога не доверяйте мне! Но все-таки мой вам совет: проваливайте из этого города.

– Да я приехал, в сущности, по делам...

– Дела? В этом городе? Изумительно!

– Мне нужно устроить сделку с купцом Семипядевым по покупке оптом ста бочек масла и сговориться с адвокатом Бумажкиным по поводу одного взыскания.

– Что?! Вы... без шуток? Скажу заранее, что они вам сделают: от Семипядева вы действительно получите сто бочек масла, но в бочках вместо масла будут кирпичи, а Бумажкин – взыскать-то он взыщет, но

деньги эти немедленно растратит. Вы их и не понюхаете... Господи! Сколько с ними уже было этих примеров!

– Что же мне делать?

– В память того человека, каким я был три года тому назад, – хочу спасти вас. Кажется, ведь в моем предложении нет подвоха – идите сейчас же на вокзал и немедленно уезжайте.

Слова бледного молодого человека заставили меня призадуматься... Действительно, не лучше ли поскорее убраться из города, где все так входят в положение приезжего, хлопчут о нем – и так конкурируют в этом, что приезжий может через час остаться без сапог.

– Так Семипядев и Бумажкин действительно такие? – переспросил я.

– А то какие же! Такие. Что мне за расчет врать вам?

– А вы меня проводите до вокзала?

– Так и быть. Провожу. Если бы вы не подумали, что я способен сейчас же убежать с вашим сакom, я попросил бы у вас его донести до вокзала, чтобы облегчить вас. Но вы, конечно, должны подумать, что я такой же, как и другие, что я убегу...

В словах бледного человека слышалась затаенная горечь...

Я вспыхнул, смутился, как школьник, пойманный учителем.

– О, что вы! Как можно говорить так... Чтобы доказать, что я этого не думаю, – нате, возьмите сак... Хотя мне и неловко затруднять вас...

Бледный человек взял сак, покачал печально головой и вдруг бросился опрометью бежать по пустынной улице, стараясь избежать как можно скорее моего растерянного взгляда...

* * *

Когда я брал на вокзале билет, кассир обсчитал меня на двугривенный.

Едучи обратно, я задумался о судьбах этого города, который только и можно встретить на святой Руси...

Как кончит этот город? Плохо кончит.

Будет, вероятно, так: чужестранцы перестанут туда ездить, а, туземцы украдут друг у друга все, что у них было, сдерут один у другого кожу взятками, поборами и обманом, а потом, когда проживут все это, – поумирают с голоду.

Неприятно говорить людям правду в глаза. И меня сначала смущало то, что жители этого города получают книгу с моим рассказом, прочтут и будут чрезвычайно обижены.

Но потом я успокоился. Наверное, ни одна книга с моим рассказом не дойдет до них, так как будет утащена почтовыми чиновниками на ихней же городской почте.

Костя Зиберов

I

В Одессе мне пришлось прожить недолго, и все-таки я успел составить об этом городе самое лестное для него мнение. Тамошняя жизнь мне очень понравилась, улицы, бульвары и море привели меня в восхищение, а об одесситах я увез самые лучшие, тихие, дружеские воспоминания.

Костя Зиберов навсегда останется в моей памяти как символ яркого, блестящего, переливающегося разными цветами пятна на тусклом фоне жизни, пятна – рассыпавшегося целым каскадом красивых золотых искр.

Впервые я увидел Костю Зиберова в Александровском парке. Я скромно сидел за столиком, допивая бутылку белого вина и меланхолично, со свойственным петербуржцу мелким скептицизмом посматривая на открытую сцену.

Когда показался Костя Зиберов, он сразу привлек мое внимание. Одет он был в синий пиджак, серые брюки, белый жилет и на груди имел прекрасный лиловый галстук – костюм немного пестрый с точки зрения чопорного франта, но чрезвычайно шедший к смуглому красивому лицу Кости Зиберова. Черные кудри Кости прикрывала элегантная панама, поля которой были спущены и бросали прозрачную темную тень на прекрасные Костины глаза.

Ботинки у него были желтые, с модными тупыми носками.

Костя, легко скользя между занятыми публикой столиками, приблизился к одному свободному, по соседству со мной, сел за него и громко постучал палкой с серебряным набалдашником.

Метрдотель подобострастно склонился над ним.

«Эге! – подумал я. – Этот господин пришел с серьезными намерениями... Я уверен, сейчас появится две-три этиуали и веселый кутеж протянется до утра. Будет от него хозяину нажива».

Действительно, палкой он постучал так громко и заложил ногу за ногу так решительно – будто бы хотел потребовать все самое лучшее,

что есть в погребе, в кухне и на сцене.

– Что позволите? – замотал невидимым хвостом метрдотель.

Костя поднял на него рассеянные, томные глаза.

– А? Дайте-ка мне... стакан чаю с лимоном. Только покрепче!

Нигде не умеют с таким толком тратить деньги, как в Одессе. Каждый гривенник тратится там ясно, наглядно, вкусно, с блеском и экстравагантностью, которых петербуржцу никогда не достичь, даже истратив сто рублей.

Бутылка дешевого белого вина, поданная одесситу в серебряном ведре со льдом, и пятиалтынный, врученный за это лакею на чай, произведет всегда более громкое, более потрясающее по своей шикарности впечатление, чем пара бутылок шампанского петербуржца... Потому что петербуржцу не важно, будет ли вино стоять на его столе или на стуле в двух шагах от него, прикрытое до неузнаваемости белой салфеткой, не важно – считают ли это вино принадлежащим ему или его соседу, и не важно – видел ли кто-нибудь, когда он сунул лакею в ладонь два рубля на чай.

С рублем в кармане одессит проведет праздничный день так полно, разнообразно, блестяще и весело, как не приснится жителю другого города и с десятком рублей. С самого утра одессит посидит в кафе, потом пойдет на бульвар послушать музыку и выпить бокал пива, поедет куда-нибудь на Фонтан к знакомым; вернувшись, съест пару бутербродов в Квисисане, а вечером он сидит в парке, пьет свой «стакан чаю, но покрепче» и слушает пение шикарных шансонеток, изредка мелодично подпевая им.

И все это он делает с таким независимым видом, будто он мог бы на Фонтан поехать и в автомобиле, но для курьеза хочет испытать и трамвайную езду... На бульваре он мог бы плотно пообедать с бутылочкой бургундского, но доктора строго-настрого запретили ему излишествовать в пище... И вечером в парке – что стоило бы ему пригласить к своему обильному столу пару певиц, но зачем? Все это одно и то же, все это надоело, всем этим он пресытился.

Вид у него – принца, путешествующего инкогнито, колоссально богатого, но который избрал себе, разочаровавшись жизнью, странную забаву: имея в кармане сотенные билеты, тратить пяτάчки и гривенники, иногда торгуясь даже в самых безнадежных случаях.

Когда Костя Зиберов потребовал стакан чаю, я, будучи еще мало знаком с одесской жизнью, подумал:

«Вероятно, он стесняется и не хочет устраивать сразу шум и треск, предпочитая начать со скромного стакана чаю...»

Но Костя и кончил этим стаканом. Вместе с последним номером программы на сцене Костя допил остатки холодного чаю и опять громко постучал палкой по столу.

– Что прикажете?

– Человек! Счет!

– Один стакан чаю-с. Пятнадцать копеек.

Боюсь, что, если бы Косте подали счет, он подписал бы его. Но счета ему не подали, и он, вынув из кармана двугривенный, с громким звоном бросил его на блюде.

– Возьмите. Сдачи не надо!

И с развинченными манерами неисправимого кутилы и расточителя, просадившего не одно наследство, Костя вышел из сада.

Расплатившись, ушел и я.

В конке нам пришлось сидеть рядом.

Костя приветливо взглянул на меня и со свойственной всем южанам общительностью спросил:

– Далеко изволите ехать?

С такими вопросами обращаются обыкновенно пассажиры поездов, идущих без пересадки дня два-три. Когда предстоит совместный трехдневный путь, интересно ознакомиться с соседями и узнать их планы, намерения.

Костя попытался сделать это, хотя мы должны были расстаться через двадцать минут.

– На Преображенскую, – отвечал я.

– Хорошая улица. Прекрасная... Мне хотя нужно через две улицы слезать, но я провожу вас до Преображенской. Кстати, зайду в Квисисану закусить... Вы приезжий?

Как-то случилось, что зашли мы вместе, каким-то образом вышло, что съели мы салат, котлет и выпили две бутылки вина, и еще вышло так, что заплатил я. Правда, Костя очень горячо спорил, желая

взять эти расходы на себя, я горячо возражал, но наконец, когда мое упорство было сломлено, я согласился:

– Ну хорошо, сегодня платите вы, а следующий раз я.

Костя тогда сказал, добродушно пожав плечами:

– Ну, ладно. Платите вы, если уж так хотите. А следующий раз заплачу уж я.

Когда мы вышли, Костя, держа меня под руку, восхищенно говорил:

– Так ты, значит, петербуржец... Вот оно что. Очень рад! Я все собирался в Петербург, да все как-то не мог собраться. Хочешь, приеду теперь, а?

– Приезжай, – согласился я.

– Право, приеду. Все-таки свой человек теперь есть в столице.

III

Я думал, что Костя Зиберов говорил о своем приезде в Петербург просто так, чтобы сказать мне что-нибудь приятное и удовлетворить палящую, ненасытную жажду общительности и дружелюбия. Так, один господин из Кишинева, встретив меня случайно в Петербурге и познакомившись, пригласил к себе в Кишинева «денька на два». И он знал прекрасно, что никогда я к нему не приеду, и все-таки приглашал, а я был твердо уверен, что нет такой силы, которая повлекла бы меня за тысячи верст к еле знакомому человеку «денька на два» – и все-таки я обещал. Впрочем, сейчас же мы оба и забыли об этом.

Но Костя Зиберов сдержал свое обещание: он приехал в Петербург.

Никогда я не видел интереснее, забавнее и курьезнее зрелища, чем Костя Зиберов в Петербурге.

Среди горячей, сверкающей декоративной природы юга Костя Зиберов был красив, уместен и законен со своим ярким, живописным костюмом, размашистыми жестами, неожиданными оборотами языка и болезненным влечением к знакомству и дружбе. В Петербурге он казался сверкающим павлином среди скромных серых воробьев. Все пугались его яркости, стремительности, дружелюбия и шумливости...

Он поселился у меня.

В первый день мы пошли обедать в один из ближайших ресторанов и произвели там фурор... Блестящий костюм Кости, его походка разочарованного миллионера и властный стук палкой по столу собрали у нашего стола целую группу: двух метрдотелей, мальчишку и четырех лакеев.

– Что изволите приказать, ваше сиятельство?

Его сиятельство с брезгливой миной взял карточку, скептически взглянул на нее и проворчал:

– Воображаю... Чем вы тут накормите!..

– Помилуйте-с... Все оставались довольны...

– Да... знаем мы... Все вы так говорите! Он наклонился ко мне и шепнул:

– Нам хватит на обед и вино? Я, признаться, не при деньгах.

– Не беспокойся, – улыбнулся я. – Распоряжайся.

Костя оживился и сразу дал почувствовать метрдотелю, что с ним нужно держать ухо востро и накормить нас нужно по-княжески.

Он забросал метрдотеля самыми необычными названиями вин, ошеломил его какими-то тефтелями, «которые у вас, наверное, делают черт знает как!», и, успокоившись немного, обратился ко мне:

– С кем это ты сейчас раскланялся?

– Это скульптор. Князь Трубецкой.

– Как?! И ты говоришь об этом так спокойно? Ты с ним знаком?

– Да, – сказал я. – Знаком. А что?

– Чего же ты молчал все время? – ахнул Зиберов. – Вот чудак! Приехал в Одессу и молчит.

– А чего ж мне. Не бродить же мне было с утра до вечера по одесским улицам, крича до хрипоты: «А я знаком с князем Паоло Трубецким!»

Тут же я вспомнил, как Костя прожужжал мне уши тем, что он знаком с известным борцом – каким-то Кара-Меметом, и даже как-то, расщедрившись, дал мне благосклонное обещание познакомить меня с ним.

Известность его прельщала. Чья-нибудь слава туманила ему голову, и знакомство с популярным человеком доставляло ему вакхическую радость.

Пришлось познакомить его и с Трубецким.

Разговор их чрезвычайно меня позабавил.

– Так вы, значит, и есть тот самый Трубецкой? – лихорадочно спросил Костя.

– Тот самый и есть, – улыбнулся князь.

– А я представлял вас совсем другим. Думал – вы с большой бородой.

– Напрасно!

– Ну что – трудно, вообще, лепить?

– Сущие пустяки. Привычка, и больше ничего.

В этом месте Косте Зиберову захотелось сказать князю что-нибудь приятное.

– Отчего вы никогда не приедете в Одессу?

– А что?

– Помилуйте! Прекрасный город! Море, вообще, суша... Вас бы там встретили по-царски. Помилуйте – князь Трубецкой!

– Мегсі, – скромно поклонился князь.

– Да чего там! Конечно, приезжайте. Прямо ко мне... У меня можете и остановиться.

– К сожалению, я не знаю – что же я там буду делать?

– Господи! Мало ли... Право, приезжайте. Беру с вас слово... Стаканчик вина можно вам предложить? Я так рад, право...

Глаза Кости затуманились. Наступал тот психологический момент, когда Костя должен был предложить князю выпить с ним на «ты».

IV

Вечером Костя изъявил желание повеселиться, и я повез его в летний «Буфф».

У кассы театра я остановился.

– Зачем? – удивился Костя.

– Билеты взять!

– Вот чепуха! С какой стати платить! Нам и так дадут места.

– Да с какой же стати...

Костя властно взял меня под руку:

– Пойдем!

Он вел меня, глядя рассеянно, задумчиво прямо перед собою.

У входа человек нерешительно остановил его:

– Ваши билеты, господа!

Костя очнулся, вышел из задумчивости, обернул к привратнику изумленно-оскорбленное лицо и процедил сквозь зубы, с непередаваемым выражением презрения, исказившим его красивое лицо:

– Бол-ван!

– Извините-с, – засуетился привратник. – Я не знал...
Пожалуйста! Программу не прикажете ли?

В саду Костя быстро ориентировался. Он повлек меня за кулисы, отыскал какого-то режиссера или управляющего и потребовал:

– Два места в партере поближе.

– Для кого?

– Как?! – изумился Костя, указывая на меня. – Вы его не знаете? Этого человека не знаете?! Полноте! Вы должны бы дать ему два постоянных места, а не спрашивать – для кого? Вы только и держитесь прессой, пресса создает вам успех, а вы спрашиваете – для кого?

Через пять минут мы сидели в креслах третьего ряда.

Первое действие Костя просмотрел с пренебрежительной гримасой, мрачно, а в середине второго действия возмутился.

– Черт знает что! – громко воскликнул он. – Какую дрянь преподносят публике... Только деньги даром берут.

– Замолчи, – прошептал я. – Ну, чего там...

– Не замолчу я! Хор отвратительный, режиссерская часть хромает и певицы безголосые... Да у нас бы в Одессе пяти минут не прожила такая оперетка!

В третьем акте Костя выразил еще более недвусмысленное неудовольствие и даже попытался намекнуть, что мы можем потребовать возврата напрасно брошенных денег.

– Да ведь мы не платили, – возразил я.

– Мало что – не платили... Так они этим и пользуются? Зрители, после Костиной критики, вероятно, нашли, что никогда им не случалось видеть более шикарного, изысканного посетителя, чем Костя...

Прожил Костя у меня неделю. Денег у меня он брал мало – на самое необходимое – и тратил их с таким вкусом, что все относились к нему подобострастно и почтительно, а на меня не обращали никакого внимания... Он был так ослепителен, что я все время являлся серым, однотонным контрастом ему. Уезжая, взял у меня на дорогу.

– Были деньги, – небрежно улыбнулся он своими прекрасными губами, – да вчера как раз просвистел их все в «Аквариуме». Безобразие, в сущности. Посмотри-ка счет какой!..

Он вынул из кармана измятый счет и показал итог: 242 р. 40 к.

Меня удивило, что отдельные строчки, когда я бросил на счет быстрый взгляд, были такого содержания:

Шницель по-гамбург.....	1р.
Водка и бутер.....	70 к.
Папиро.....	20 к.
Сифон.....	50 к.

И, кроме того, мне показалось, что первые две цифры итога 242 р. 40 к. были написаны более темными чернилами, чем последующие три.

Но я ничего не сказал, сочувственно покачал головой, обнял на прощанье Костю Зиберова, сердечно простился с ним и – он уехал в свою веселую Одессу.

Очень часто вспоминал я Костю Зиберова и, сказать ли правду, частенько скучаю по Косте Зиберове...

Смерч

I

Услышав звонок в передней, кухарка вышла из кухни, открыла парадную дверь и впустила Кирилла Бревкова, пришедшего в гости к хозяину дома Терентьеву.

Кирилл Бревков имел рост высокий, голос очень громкий, смеющийся и лицо веселое, открытое, украшенное светло-красным носом и парой сияющих, как звезды, глаз.

При одном взгляде на этот треугольник, углы которого составляли два глаза и нос – можно было безошибочно определить, что Кирилл Бревков живет на земле беззаботно, радостно, много ест, много говорит и всюду находит себе материал для веселья, заливаясь всю жизнь счастливым безыдейным смехом, столь редким в наш сухой век...

– Здравствуй, Пелагея! Как поживаешь?

– Спасибо, барин. Пожалуйста.

– Постой, постой... Э! Да что это с тобой, матушка, такое?!

Он взял руками пылающее от кухонного жара лицо Пелагеи и повернул его к свету.

– Да ведь на тебе, матушка, лица нет!! Ты больна?

– Н-нет! – испуганно прошептала Пелагея. – А рази – что?

– Да ведь ты же бледна как смерть... Краше в гроб кладут! Тифом была больна, что ли?

Багровая Пелагея действительно побледнела и вздрогнула.

– Неужто хворая?!

– Матушка! Да ведь ежели так с тобой, не знаючи, встретиться – так тебя за привидение, за русалку примешь! Сама белая-белая, а глаза горят лихорадочным блеском! Похудела, осунулась...

Кухарка охнула, всплеснула толстыми руками и с громким топотом убежала в кухню, а Кирилл Бревков посмотрел ей вслед смеющимся, лучезарным взглядом и вошел в гостиную.

Его встретил 12-летний Гриша. Вежливо поклонившись, он сказал:

– Драсте, Кирилл Ваныч. Папа сейчас выйдет. Напустив на себя серьезный, мрачный вид, Кирилл Бревков на цыпочках подошел к Грише, сделал заговорщицкое лицо и шепнул:

– Папаше признались?

– В чем?

– Насчет недопущения к экзамену?

Гриша растерянно взглянул в сверкающие глаза Бревкова.

– Какое недопущение? Я допущен.

– Да-а? – протянул Кирилл Бревков. – Вы так думаете? Ну, что ж – поздравляю! Блажен, кто верует...

Хе-хе!..

Он сел в кресло и преувеличенно грустно опустил голову.

– Жаль мне вас, Гришенька... Влопались вы в историю!

– В ка... кую?!..

– А в такую, что я сегодня видел вашего директора Уругваева. «Как идет у вас, – спрашиваю, – Терентьев Григорий?» – «Отвратительно, – говорит. – На совете постановили не допустить его к экзаменам!» Вот оно что, молодой человек!

Если бы Гриша был наблюдательнее, он заметил бы, как дрожали полные губы Бревкова и каким весельем сверкали его бриллиантовые глазки... Но Грише было не до этого.

Он тихо побрел в детскую, спрятав голову в узкие плечи и шепча под нос:

– Господи!

II

В гостиную вышел сам Терентьев и облобызался с гостем.

– Здорово, Кирилл! Сейчас и жена выйдет. Вышла и жена.

Она была худощавая, тонкогубая, с прической, взбитой высоко-высоко над желтым лбом.

– Анна Евграфовна! Неизмеримо рад видеть вас! Ручку-с! Давно вернулись из Москвы?

– Позавчера.

Она оглядела мужчин пытливым взором и с деланным равнодушием спросила:

– Ну а вы, господа, как проводили без меня время? Кирилл Бревков хотел заявить, что он не виделся с мужем со времени ее отъезда, но пытливое лицо Анны Евграфовны показалось ему таким забавным, что он ухмыльнулся и загадочно сказал:

– Было всего!

– Да? – криво улыбнулась Анна Евграфовна. – Вот как!

– Кстати! – обернулся к мужу Бревков. – Вчера я встретился с той полькой!

– С какой? – удивился Терентьев.

– Ну с этой, знаешь... Станиславой. Которой ты платье тогда токайским облил. Вспоминали тебя.

При этом Бревков многозначительно подмигнул Терентьеву одной стороной своего подвижного лица. Но Терентьеву не нужно было и этого подмигивания. Терентьев знал своего веселого, замысловатого друга и сейчас же решил, что он, Терентьев, не ударит перед ним лицом в грязь.

Он сделал фальшиво-испуганные глаза и погрозил Бревкову пальцем:

– Кирилл! Ведь ты же дал слово молчать! Кирилл расцвел. Мистификация получилась хоть куда.

– Молчать? Но я знаю, что Анна Евграфовна женщина передовая и простит мужчинам их маленькие шалости. Тем более – больших денег это не стоило. Сколько ты тогда заплатил? Сто сорок?

– Сто сорок, – подтвердил Терентьев. – Да на чай десять рублей.

Жена переводила взоры с одного весельчака на другого и наконец убежденно воскликнула:

– Да вы врете! Хотите подшутить надо мной. Дразнитесь.

Бревков никогда не мог примириться с тем, чтобы его шутки так легко разгадывались.

– Мы шутим? Ха-ха! Ну, хорошо! Да-с, Анна Евграфовна, мы шутим! Не придавайте нашим словам значения...

Он помолчал и затем обернулся к Терентьеву:

– А знаешь, насчет этой испанки Морениты ты оказался прав!

Терентьев никогда не знал никакой испанки Морениты, но вместе с тем счел необходимым обрадоваться:

– Видишь! Я говорил, что буду прав.

– Да, да, – медленно кивнул головой Кирилл. – Она сейчас же от тебя и поехала к этому жонглеру. Ха-ха! А ведь как уверяла тебя в своих чувствах.

Бревков ударил себя ладонью по лбу.

– Кстати! Все собираюсь спросить тебя: это ты засунул мне в карман тогда утром желтый шелковый чулок?

– Так он был у тебя? – захохотал Терентьев. – А мы-то его искали...

Жена сидела не шевелясь, опустив глаза.

– Вы это серьезно... господа? – спросила она странно спокойным тоном.

Кирилл Бревков вздрогнул:

– О черт возьми! Я, кажется, наболтал лишнего! Простите, сударыня. При вас не следовало вспоминать о таких вещах...

Она вскочила.

– Вы эт-то серь-ез-но?!

В тоне ее было что-то такое, отчего муж поежился и рассмеялся бледным смехом.

– Милая, но неужели ты не видишь, что мы шутим с самого начала? Никуда я не ездил и все время сидел дома. И с Кириллом не виделся...

Муж думал, что Бревков тоже сейчас расхохочется и успокоит жену. Но Бревков был не такой.

– Неужели вы так близко принимаете это к сердцу, Анна Евграфовна? Ну что здесь, в сущности, ужасного? Все мужья это делают и остаются по-прежнему любящими мужьями. Из-за мимолетной встречи с какой-нибудь канатной плясуньей не стоит...

Жена закрыла лицо руками, заплакала и сказала сквозь рыдания:

– Вы негодяи! Развратные подлецы...

– Кирилл! – вскочил с места Терентьев. – Перестань. Довольно! Аничка... Ведь он же это нарочно...

– Не смей ко мне прикасаться, негодяй! Я тебе не испанка!

– Сударыня! – сказал Бревков. – Он больше не будет, он исправится...

Анна Евграфовна оттолкнула мужа и ушла в спальню, хлопнув дверью.

– Началась история! – сказал муж, обескураженно почесав затылок. – И нужно было тебе выдумать такую чепуху!..
Сидя в кресле, Кирилл Бревков хохотал, как ребенок...

III

– Анята! А Анята!.. Отвори мне. Ну, брось глупить. Мы же шутили...

Молчание было ответом Терентьеву.

– Анята, Аня! Что ты там делаешь? Открой! Кирилл хотел подтрунить над тобой, а ты и поверила... Ха-ха.

– Не лги! Хоть теперь не лги... в память наших прежних отношений. Все равно твои жалкие оправдания не помогут...

За дверью послышались рыдания. Потом все стихло. Потом дверь распахнулась и из спальни вышла Анна Евграфовна, в шляпе, с чемоданчиком в руках.

– Я уезжаю к тете. Потрудитесь не разыскивать меня – это ничему не поможет. Приготовьте Гришу ко всему этому. Мне было бы тяжело его видеть. Прощайте, Бревков.

– Анна Евграфовна, – кинулся к ней Кирилл. – Неужели вы поверили? Мы же шутили!!

Она слабо улыбнулась и покачала головой.

– Не лгите, Бревков. Дружба великое дело, но за негодяев заступаться не следует.

– Анна Евграфовна...

– Прочь!! Довольно.

Она отстранила мужа и вышла из комнаты, высоко подняв голову (еще 10 минут тому назад она решила выйти из «этого дома» с «высоко поднятой головой»).

– Чтоб тебя черти взяли, Бревков, – вырвалось у мужа совершенно искренно. – Ты еще что?! Тебе еще чего надо?

– Чего? – прищурилась вошедшая Пелагея. – А того, что изверги вы все, кровопийцы. Вам бы только вдовью кровь пить, чтобы вдове скорее в могилушку снизойти. Этого вам надо?! Да?! Пожалуйста расчет.

– С ума ты сошла? Кто твою кровь пьет?

– Да уж поверьте!.. Посторонние люди-человеки замечают... Уходили вы меня, чтоб вам ни дна ни крыши! Может, мне и жить-то через вас неделька-другая осталась, да чтоб я молчала?! Нет в вас жалости! Как же – пожалеете вы! Посторонний человек пожалеет, это верно... «бледненькая вы, Пелагея Васильевна, скажет, хворенькая»... А вам – что? Работает на вас дура – и хорошо. Хы! хы!

Она села на пол и залилась слезами.

– Вон! – закричал Терентьев. – Вот тебе деньги, вот паспорт и проваливай. Э... да ну вас всех к черту!

Терентьев схватил шляпу, нахлобучил ее на глаза и убежал. Слышно было, как в передней хлопнула дверь. Пелагея тоже поднялась с пола и ушла. Уходя, поклонилась Кириллу и сказала:

– Балдарим покорно, батюшка! Хуть ты вдову пожалел!

Изумленный Кирилл почесал затылок и, бормоча что-то под нос, стал прохаживаться по опустевшей комнате...

IV

В детской послышался шорох.

Крадучись, вышел маленький Гриша, увидев Бревкова, отскочил, бросил на пол какую-то бумажку и помчался к выходу.

– Куда ты? – крикнул ему вслед Бревков. Гриша взвизгнул на ходу:

– Убегаю! В Америку.

Кирилл поднял бумажку и прочел:

«В смерти моей прошу никого не винить. Виноват директор Уругваев. Уезжаю с Митей Косых в Америку. Примечание: не знал, как начинаются записки, и потому написал про смерть. А вообще едим в Америку. Ученик 2-го класса Григо. Терентьев».

* * *

Кирилл еще минут пять бродил по пустой квартире. Потом ему сделалось жутко.

Он оделся, вышел, запер на ключ наружную дверь и, отдавая ключ дворнику, сообщил ему:

– Терентьевы уехали за границу, а все вещи подарили тебе за верную службу. Старайся, Никифор!

И пошел по улице, усмехаясь.

С корнем

I

– Удивительная женщина! – прошептал Туркин. – Я ее иногда даже боюсь.

– Почему боишься?

– Бог ее знает почему. В ней есть что-то нездешнее.

– Где она?

– Вон, видишь... На диване комочек. В ней есть что-то грешное, экзотическое – это стручковый перец, но формы какой-то странной... необычной.

– Нездешней? – спросил Потылицын.

– Нездешней. Пойдем, я вас познакомлю. Она тобой интересовалась. Спрашивала.

Туркин схватил Потылицына под руку и, лавируя между группами гостей, подтащил его к пестрому комочку, свернувшемуся в углу дивана.

Комочек звякнул, развернулся, и рука, закованная в полсотни колец и десяток браслетов, поднялась, как змея, из целой тучи шелка и кружев.

– Айя! – сказал Туркин. – Я привел тебе моего друга, Потылицына. Ты, Потылицын, не удивляйся, что мы с Айей на «ты» – она всех просит называть ее так. Айя стоит за простоту.

Даже при самом поверхностном взгляде на Айю этого нельзя было сказать: невероятно странную прическу, сооруженную из волос, падавших на глаза, обхватывал золотой обруч, белое лицо и красные губы сверкали в этой чудовищной рамке, как кусок сахара, политый кровью. Нельзя сказать, чтобы на этой Айе было надето простое человеческое платье: просто она была обшита несколькими кусками газа терракотового цвета и окована с ног до головы золотыми цепочками, привесками и браслетами – браслеты на руках, браслеты на ногах, ожерелье в виде браслета – на шее. А от браслета на руке

шли тоненькие цепочки, придерживавшие кольца на пальцах, так что вся рука была скована хрупкими кандалами.

При каждом движении Айя вся тихонько позвякивала и шелестела.

– Знакомьтесь со мной, – сказала Айя. – Вас зовут, я знаю – Потылицын, а меня Айя. Думаю, что через час мы будем на «ты». Так проще.

– Айя... – нерешительно сказал Потылицын. – Айя... А дальше как, по отечеству?..

– Никак. Просто Айя.

Айя взяла руку Потылицына, осмотрела ладонь этой руки и уверенно сказала:

– Мы с вами где-то встречались. Вы помните?

– Нет... кажется, не помню. Не встречались.

– Встречались, – уверенно сказала Айя. – В Египте.

– В Египте? Да я там никогда не был.

– О... будто это так важно – не были! Мы с вами всетаки встречались, – капризно протянула Айя. – Не теперь, так раньше.

– Да я и раньше там не был.

– Раньше? Откуда вы знаете, что было раньше... когда не было смокингов и автомобилей. Вы ведь не издевайтесь. Вы ведь не издевайтесь. Вы ведь не издевайтесь.

– Да, я сам с юга. Родители мои...

– Вы не издевайтесь! У вас нечеловеческое выражение глаз. Может быть, вы когда-нибудь были ящерицей.

– Может быть, – нерешительно сказал Потылицын. – Мне об этом неизвестно.

– Дайте-ка еще раз вашу руку, – сказала Айя. – У вас на душе есть преступление.

– Что вы! Да я...

– Тсс... Не надо быть таким шумным. Посидим помолчим.

Эта просьба относилась, очевидно, только к Потылицыну, потому что Айя позвякала с минуту и, усевшись поудобнее, сказала:

– Что бы вы сделали, если бы были королем всего мира?

«Повесил бы тебя», – подумал Потылицын, а вслух сказал:

– Что бы я сделал? Не знаю. Особенного тут ничего не сделаешь.

– А если бы я была королевой, – приказала бы уничтожить все часы на земном шаре. Часы – это господа, мы – рабы, и мы стонем под

их игом. Тик-так, тик-так! Прислушайтесь – это свист бича.

– Ну уничтожили бы вы часы, а дни остались бы. День сменяется ночью – те же часы.

– В моем королевстве была бы абсолютная ночь. Мы жили бы под землей и уничтожили бы время. Нет времени – и мы бессмертны. Из всего моего королевства я бы сделала бесконечный темный коридор.

«Пожалуй, сделай тебя королевой, – подумал Потылицын, – ты еще и не такую штуку выкинешь... С тебя станется».

А Айя в это время говорила задумчиво и трогательно:

– Ах, я так понимаю римских цезарей. Ванна из свежей человеческой крови утром – это запас нескольких жизней на целый день! Возрождение через смерть прекрасных молодых детей... Розовый огонь на свежем сером пепле...

– Где ваш муж служил? – нервно спросил Потылицын.

– Директор металлургического общест... Ах, мой муж! Иногда я слышу около себя шелест – это он издали думает обо мне.

– Нездешний шелест? – спросил Потылицын.

– Да... Нездешний. Это вы очень хорошо сказали. Шелест... Выродившийся гром, раб, сверженный с небес и закованный в шелковые оковы. Вы никогда не были убиты молнией?

Потылицын украдкой пожал плечами и уверенно признался:

– Был.

– Как это хорошо! Быть убитым молнией – это небесная смерть. Рана в борьбе с небесным Воином.

II

Потылицын потер ладони одна о другую, взглянул на Айю и заметил будто вскользь:

– Вы были когда-то женой вождя негритянского племени?

– Почему? – спросила Айя умирающим шепотом.

– Потому что вы серая. Вы под пеплом... даже сейчас. Я уверен, вы родились от Вулкана. Вышли из кратера вместе с пеплом.

– Ах, – сказала Айя, – вы, пожалуй, правы больше чем нужно. Не нужно быть правым. Кратер...

– А когда вы смеетесь, – заметил деловито Потылицын, – вы напоминаете самку суслика.

– Суслик смеется перед опасностью, – покачала головой, позвякивая, Айя.

– Да и после смерти. У вас прекрасные глаза, Айя. В особенности левый.

– Мой левый глаз знает больше.

– Да! Знание, умерщвляя, украшает. Я вспомнил! Мы с вами виделись не в Египте, а у истоков Замбези. Вы пили воду, стоя передними ногами в реке.

– Я была оленем?

– Да. Антилопа-гну. Жвачное, однокопытное. И, зацепившись хвостом за ветку хлебного дерева, смотрел я на вас, раскачиваясь. Верно?

Айя нерешительно взглянула на Потылицына, и в глазах ее можно было прочесть некоторый испуг: будто пришел какой-то похититель и явно хочет обокрасть ее.

– Да, – подтвердила она. – Замбези. Я помню тигра, который любовно смотрел на меня из джунглей...

Потылицын серьезно кивнул головой.

– Да... тигр. Очевидно, он убежал из туземного зверинца, потому что на Замбези они не водятся.

– Вы любите пуму? – смущенно спросила Айя. – Пума и ягуар напоминают льющуюся воду. Их движения водопадны.

– Ниагарны или имартны? – с интересом спросил Потылицын.

– Ах, это все равно. Я когда-нибудь встречу ягуара... Я буду проходить под деревом, и вдруг на меня сверху свалится гибкая злая масса. О, я не буду кричать. Пусть! Пусть мое тело будет исковеркано, облито кровью. Пусть – я зато узнаю мучение. Я скоро встречу с ягуаром.

– Вы действительно этого хотите? – сурово спросил Потылицын.

– Да, я хочу мучения, побоев. Я поцелую руку ударившему меня мужчине.

– Хорошо. Завтра я буду у вас с визитом и, кстати, завезу вам расписание.

– Чего?.. – удивилась Айя.

– Расписание пароходов, отходящих в Сан-Франциско. Оттуда по железной дороге до Сакраменто и...

– Зачем?

– Затем, что ягуары водятся в Мексике. До Йокогамы вы можете поехать по Сибирской железной дороге. Правда, вагоны не ахти какие и на станциях буфеты отвратительные...

– Ах, что вы такое говорите...

– Да ведь как же! Иначе вы до ягуаров не доберетесь. В Мексике вы их можете найти по дороге от Чигуагуа...

– Милый! Вы мне даете мигрень. Вы слишком реально касаетесь вещей, которые тоньше паутины. Наши ощущения должны быть ирреальными.

– Нездешними?

– Вот именно. Вы очень метко это сказали...

– Вот что, уважаемая Айя, – сказал Потылицын, вставая. – Я хочу иметь с вами серьезный разговор... Но наедине. Можем мы сейчас уйти в кабинет хозяина?

– Да... – колеблясь, согласилась Айя. – Только зачем «вы»? Нужно «ты». «Ты» – это не приближает, а отдаляет. Я хочу отдаления.

– Ладно, ладно. Пойдем.

III

Они вошли в кабинет. Потылицын усадил Айю на оттоманку, притворил дверь и уселся рядом.

– Вот что, моя милая. Как тебя зовут?

– Айя. Это звучит как падение снега.

– Моя милая! Если ты будешь ломаться – я тебя поколочу. Ты сама об этом мечтала давеча. Не вздумай кричать – я свалю все на тебя. Меня все хорошо знают как скромного человека, а тебя, вероятно, считают за полусумасшедшую сумасбродку, готовую на всякую плуемость. Итак, не ломайся и скажи мне, как тебя зовут? Как твое настоящее имя?

– Вы с ума сошли! – испуганно сказала притихшая Айя. – Меня зовут Екатерина Арсеньевна.

– Вот и прекрасно. Вот что я тебе скажу, Екатерина Арсеньевна: мне тебя смертельно жалко... Как это так можно изломать, исковеркать свой благородный человеческий облик? Как можно себя обвешать какими-то браслетками, цепочками, связать себя так, что к тебе и приступить страшно. Вспомни, Екатерина Арсеньевна, о своей матери. Как бы она плакала и убивалась, если бы увидела свою дочь в таком горестном, позорном положении. Какой глупец научил тебя этим смешным, нелепым разговорам об Египте, ягуарах и темных коридорах? Милая моя, ты на меня ради Бога не обижайся – ты баба, в сущности, хорошая, умная, а только изломалась превыше головы. К чему это все? Кому это нужно? Дураки, вроде Туркина, удивляются тебе и побаиваются, а умные люди смеются за твоей спиной. Мне тебя смертельно жалко.

То, что я тебе скажу, никто тебе не скажет, даже твой муж. Сними ты с себя все эти побрякушки, колокольчики, начни говорить по-человечески, и ты будешь женщиной, достойной уважения и даже настоящей любви. Дети-то у тебя есть?

– Нету, – со вздохом сказала жена директора.

– Вот то-то и беда. Может, это все от бездетности пошло. Ну, милая, не будь такая печальная, развеселись, махни на все рукой и заживи по-новому. Ей-богу, тебе легче будет, чем тогда, когда нужно измышлять беседы о каких-то темных королевствах, ягуарах, пумах и кровавых ваннах. Вот ты уже и улыбаешься. Молодец! Я ведь говорил, что ты женщина не глупая и чувствуешь даже юмор. Ты на меня не сердисься?

– Вы чудовище, – засмеялась Екатерина Арсеньевна. – Грубое животное.

– Ну миленькая, ну скажи же, ну бросите вы своих ягуаров и египтян, а? Обещаете? Я буду вам самым преданным, хорошим другом. Вы мне очень нравитесь, вообще. Бросите?

– Наш разговор – между нами? – отрывисто спросила она, отвернувшись.

– Конечно. Я завтра зайду к вам, ладно?

– Хорошо... Только чтобы об этом разговоре даже не намекать. Условие?

– Даю слово. Итак, до завтра. Расписания привозить уже не надо?

– Ну-у?! А кто обещал молчать? Чудовище! Кстати, мне эта цепочка ужасно натерла руку. Я сниму эту сбрую, а вы спрячьте ее в карман.

– Ах вы, прелесть моя. Давайте!

Медицина

За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела внимательно и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и спросила:

– Почему ты такой желтый? Корзухин удивился.

– Желтый? Почему бы мне быть желтым?

– Я не знаю. Только очень желтый. Мне не нравится твой цвет.

– Хорошо, – пообещал Корзухин. – Постараюсь, чтобы этого больше не было!

Корзухин поднялся и ушел на службу. Через два дня утром жена опять сказала с беспокойством:

– Знаешь, ты опять желтый... Даже какой-то синеватый. А виски коричневые.

Корзухин испугался:

– Что ты говоришь?! О, черт возьми... Вот история...

– Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору.

– Все доктора – мошенники.

– Уж и все! Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь, я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась? Очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня после обеда заедет.

– Неужели я такой... желтый и синий?

– Ужас! Ужас! Прямо какой-то зеленый.

– Я смотрел нынче в зеркало. Как будто ничего.

– Так... – печально сказала жена. – Значит, жена врет, а зеркало не врет? Зеркало, значит, лучше? Почему же ты в таком случае не устроишься так, чтобы оно варило тебе по утрам кофе, заказывало обед, целовало тебя и ездило с тобой в театры...

– Зови доктора!!

После обеда приехал доктор.

– Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу записку и сейчас осмотрю вашего мужа.

Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухина, осмотрел его язык и убежденно сказал:

– Вам нельзя пить! Это для вас смерть.

– Что вы говорите! – побледнел мнительный Корзухин. – Что же я тогда буду делать?

– Что вы обыкновенно пьете?

– Немного водки, шампанское, ликеры...

– Вот водки вам и нельзя. И шампанского вам нельзя, и ликеров.

– Стоит ли жить после этого?

– Стоит. Нужно только заниматься больше духовными запросами.

– Займусь, – с искаженным страхом лицом пообещал Корзухин.

* * *

– Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?

– Нет, я спал.

– Ты кашлял. Я тебя уверяю – ты кашлял, а не спал.

– Почему же я сам этого не заметил?

– Очень просто: потому что ты спал. Тебе, вероятно, вредно куренье... Я уже давно косо посматривала на твои ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора – пусть он осмотрит тебя.

– Странно... Вчера только в департаменте мне говорили: как вы поздоровели!

– Да? Так если тебе говорят в департаменте такие приятные вещи – ты взял бы и поселился там вместо того, чтобы приходить сюда. Конечно, человек ищет где глубже, а рыба... тоже ищет этого самого... как это говорится: как рыба об лед. Я бьюсь как рыба об лед, измучилась, беспокоясь о тебе...

– Зови доктора. Зови доктора!

Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина... Ната оказалась права. Доктор, даже не досмотрев голого Корзухина, всплеснул руками и сказал:

– Ой-ой! Вам нужно бросить курить... А то выйдет очень неприятная штука.

– Что же вы называете неприятной штукой? Доктор поднял палец вверх.

– Туда пойдете.

– Вы, вероятно, хотите сказать, – со слабой надеждой в голосе прошептал Корзухин, – что куренье сигар расшатает мой бюджет и

мне придется перебраться этажом выше?

– Я говорю о смерти, – веско сказал доктор.

Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к столу, схватил ящик с сигарами и решительно бросил его в огонь камина.

– Молодцом! – сказал доктор. – Зуб нужно вырывать сразу.

– И зуб? – пролепетал Корзухин. – И зуб... нужно?

– Нет, зуб пока не нужно. Это я так.

* * *

Через неделю доктор опять был у Корзухиных.

– Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью бредили...

– Ей-богу, не бредил. Чего мне бредить?

– А вот мы посмотрим. Разденьтесь... Те-те-те... Батенька! Да у вас скверная вещь: я бы за ваши нервы ни копейки не дал.

Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь коммерческую сделку, но все же встревожился.

– Что же мне делать? Ради Бога...

– Поздно ложитесь?

– Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.

– Он, доктор, в карты играет, – пожаловалась Ната.

– Что вы говорите?! Это самоубийство! Вы хотите сохранить остатки вашего здоровья?

– Хочу!

– Клуб – к черту. Карты – к дьяволу. Сон – в двенадцать часов ночи. Перед сном обтирание холодной водой.

– Хорошо... – скорбно сказал Корзухин. – Оботрись.

* * *

... Доктор долго мямл, тискал и выстукивал Корзухина. Он бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал:

– Больно?

– Конечно, больно.

– А тут?

– Ой!

– Нервы, нервы и нервы. Нужно их успокоить. Вы музыку любите?

– Не выше оперетки.

– Нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь серьезное, действительно художественное. Гм... Вот что! На днях начинается серия вагнеровских опер. Достаньте абонемент.

– Как кстати! – воскликнула, всплеснув руками, Ната. – Мои знакомые как раз хотят уступить кому-нибудь абонемент. И мы вдвоем будем ходить... Вагнер – такая прелесть!

– Осмотрите меня внимательно, – заискивающе попросил Корзухин. – Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что ли... Или цирк...

Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:

– Больно?

– Еще как!

– Ну вот видите – лучше Вагнера не придумаешь... Чудак человек... Говорит – цирк. Это все равно что больному ревматизмом давать пилюли от кашля. Медицина, батенька, такая вещь, что... гм... гм...

Доктор сделался домашним врачом Корзухина. Однажды он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:

– На этот раз – дело серьезное.

– Говорите – не мучайте меня – что такое? – скривился Корзухин.

– Мотор!

– Неужели есть такая болезнь? Вероятно, психомотор?

– Нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком – никаких сотрясений! Слышите? Грудо-брюшная преграда не в порядке. Нужен мотор!

– Послушайте! – сказал Корзухин. – Вы доктор? Так. Вы осматриваете пациента?.. Так, прекрасно. Он, предположим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишете ему рецепт. Существует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в автомобильный гараж!!

– Вы забываете о физическом методе лечения, – сухо сказал доктор.

– Это что за музыка?

– Механотерапия.

– Странно... – обиженно улыбнулся Корзухин. – у меня, может быть, и всей-то грудно-брюшной преграды на дешевенький велосипед неберется, а вы – целый автомобиль прописываете.

Доктор нахмурился.

– Я не гомеопат. Не нравится – можете обратиться к гомеопату. Он вам может даже швейную машину прописать. Пожалуйста!

И ушел, гулко хлопнув дверью в передней.

– Можно подержанный, – робко сказала жена.

* * *

Это было однажды осенью...

Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось: грезились разные болезни, эпидемии и несчастья. Он встал, оделся и печальный, расстроенный побрел к жене.

В дверях ее комнаты, перед портьерой, приостановился, услышав голоса. Прищурился... Потом опустился на стул у окна и стал слушать. Разговаривали двое:

– Вы должны, доктор, это сделать!

– Ни за что! Вы сами не знаете, что просите... Нужно же знать меру.

– Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую гостиную! Слышите? Вы должны это устроить. Наша старая красная опротивела мне до тошноты.

– Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!

– Ваше дело. На то вы доктор.

– Это скорей дело обойщика.

– Придумайте что-нибудь! Скажите, что красный цвет ему вреден, а что зеленый там что-нибудь такое... увеличивает кровообращение, что ли. Или расширяет сосуды.

– Вздор! Зачем ему расширение сосудов?

– Скажите просто, что ему вредна красная гостиная.

– Да он ведь там никогда и не бывает.

– А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было сидеть в гостиной, намекните на кубический объем воздуха, а потом скажите, что такой красный цвет в гостиной ему вреден.

– Наталья Павловна... Это черт знает что!.. Он уже на автомобиле чуть не поймал меня. Если он догадается – подумайте, что будет... Я понимаю, мои первые опыты – они хоть что-нибудь имели под собою... Хоть какую-нибудь почву... Конечно, куренье вредно, напитки вредны, картежная игра вредна... Но Вагнер – это безобразие, автомобиль – это наглость. У вас нет ни такта, ни логики.

– Ну хорошо. Устройте мне последнее – красную гостиную – и ладно. Больше ни о чем не попрошу.

– Даете слово?

– Да-ю! Честное слово!!

– Ну, в последний раз. Господи благослови.

.....
Доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзухина, но Корзухина там не нашли.

Отыскивали его в красной гостиной. Он сидел на красном диване, тянул из горлышка бутылки коньяк и курил чудовищную сигару.

– А, доктор! – сказал он, подмигнув. – Здравствуйте! Не находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно влияет на меня? Кубический объем, как говорится, не тот. Хе-хе... Продается хороший автомобиль, дети мои! Срочно нужны деньги за выездом в клуб, и если я, черт побери, не заложу сегодня хорошего банчишки – потащите меня опять на Вагнера. Ха-ха! Дорогой врач! Ломаются нынче все преграды, в том числе и ваша грудо-брюшная, если вы не покинете немедленно одр тяжелобольного Корзухина. Неужели мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну, что ж делать... Я с этим совершенно примирился. Пошел вон!

Купальщик

– Эй... как вас... Мм... молодой чч... век! Нет ли тут поблизости морей каких-нибудь?

– Каких морей?

– Ну, там... Черного какого-нибудь... Средиземного. А то так – Мраморного, что ли.

– Нет, тут поблизости не будет. Переплюниха река есть, так и то верст за пятнадцать...

– М... молодой чч... век! Море бы мне. А?

– Говорят вам – нет. Да вам зачем?

– Купаться ж надо ж...

– Да если нет, так как же?

Человек, желавший выкупаться, покачнулся, схватил сам себя за грудь, удержал от падения и прохрипел страдальчески:

– Надо ж купаться же ж! Освежаться надо же ж!

– Да-с. Нет морей.

– А... Каспийское море... Далеко?

– Каспийское? Далеко.

– Вы думаете – я пьян?

– Почему же-с?

– Да, пил. Надо же ж пить же ж!! Напиваться необходимо же ж!!

– Извините... Я домой.

– Домой? Лошадь! Кто ж нынче домой ходит? Впрочем – прав! Надо ходить же ж домой же ж!! Посл... лушай! А дома морей никаких нет? Хоть бы Красное... Аральское... А? Ушел? Ну и черт с тобой. Ты же лошадь же ж! Я тут сейчас и искупаюсь! Вот еще! Куда бы мне пиджак повесить? Вот гвоздик! Надо ж пиджаки вешать же ж!

– Эй, господин! Разве тут можно раздеваться?

– Можно. Здравссс... прохожий... Не знаете – тут плубоко?

– Где-е? Это ведь улица! Тут и воды нет.

– Толкуй! Подержи жилетку.

– Отстаньте!

– О Господи ж! Надо ж жилетки держать же ж! Купаться надо же ж!!

– ...Это что еще?! Вы чего тут?! Как так – на улице раздеваться?
Пшел!

– Мама-аша! Сколько лет!..

– От-то ж дурень! Какая я мамаша? Я городской.

– Вот ччерт!.. А я смотрю – обращение самое... материнское.

Городской! Где моя мама?

– Стыдно, господин. Тут и купальни нет, а вы раздеваетесь!

– Нет купальни... А ты построй! Я тут сяду – пока брюки подожду снимать, а ты надо мной и воз... веди п-по-строечку! О Господи! Строиться надо же ж!!

– Да зачем купальню, когда воды нет? Хи-хи.

– Милл... лай. Мне ж много не надо же ж! Построй купаленку, плесни ведерце – мне и ладно. Надо ж купаться же ж!!

– «Же ж, же ж»! Вот тебе покажут в участке «же ж»! Одягайся!

– Позвольте, городской! Они выпимши и не в себе, а вы сейчас – участок. Знаем мы ваши участки. Позвольте, я сам его урезоню.

– Здравствуйте, господин!

– А-а... Мамаша! Глубочайшее...

– Купаться хотите?

– Купаться же ж надо ж! Работать надо ж!

– Дело хорошее. Водички вам немного потребуется.

– Пустяки же ж! Как пожива... аете?

– Слава Богу, хорошо. Вам ведь купаться не обязательно? Только освежиться?

– Освежиться ж надо же ж!

– Ну, вот. У меня в пузырьчке вода и есть. Ведь вам не обязательно обливаться? Ежели ее немного – можно и понюхать. А?

– Господи! Надо нюхать же ж!

– Ну вот и хорошо. Умница. Нюхайте.

– Фф... ррр... пффф... Од... днако!

– Это вы что ему за водичку дали?

– Ничего-с. Нашатырный спирт.

– Здорово! Слеза-то как бьет. Хи-хи!

– Еще, может, нырнете, а? Вот бутылочка. Держи ему голову.

– Фф... рр... пфф... Однако!..

– Ну как?

– Где мой... пиджак? Дом купца Отмахалова направо?

- Направо.
- Городовой! Дай мой пиджак. Ффу!

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

– Чаишко-то, кажется, мутноватый... Ох, уж эти меблированные комнаты! Ох, уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оплянул и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятына.

– А, здравствуйте! – равнодушно сказал Рукавов. – Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятын отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

– Я пришел только сказать вам, Рукавов, – держась рукой за сердце, сказал Заклятын, – что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.

– Слушайте, Заклятын... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

– Рукавов! Вы меня поражаете!

– Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

– Рукавов! Берегитесь! Рукавов улыбнулся.

– Хорошо. Только скажите – от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятын скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

– Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

– Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятын, говорите, – ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятыина.

– Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

– И это все? – сурово спросил Рукавов. – Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

– Знаете ли вы, – злобно прошипел Заклятыин, – что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!

Рукавов пожал плечами:

– Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

– Рукавов! – потупившись, тихо сказал Заклятыин. – Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь.

– Вы... можете поклясться в этом?

– Даю вам мое честное слово.

– Ох, эти женщины, – усмехнулся Рукавов, качая головой. – Никогда не знаешь, как с ними держаться...

Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

– Еще бы, – угрюмо сказал Заклятыин. – Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

– Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

– Да.

– За что вы хотите меня убить?..

– Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине – вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

– Вот что, Заклятьин... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю – слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь – не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

– Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену. Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.

– Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

– Если бы не вы – мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

– А какая у вас гарантия – что не явился бы другой?

– Рукавов! Вы ее оскорбляете!

– Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я – человек, не блещущий никакими талантами и красотой, что я – самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

– Хорошо! – поморщась, перебил его муж. – Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?

– А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

– Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

– Если один ординарный человек – любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

– В которой муж всегда проигрывает, – громко усмехнулся Заклятьин.

– Утешьтесь! Если я женюсь – я тоже проиграю.

– А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм – так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

– Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна

мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь и не было!

– Какого... Сазонова? – машинально спросил Заклятьин.

– Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

– Какой Сазонов?

– Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена – мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу...» – «Почему она осталась верна? – спрошу я вас. – Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену? Нет! Нет, Заклятьин! Просто – потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых – и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркаска?»

– Но в таком случае, – нахмурился Заклятьин, – мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

– Берегись! Вас тоже должны будут убить.

– Меня? За что?

– Потому что вы тоже – Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней – тем лучше для ее мужа! Но вы – Сазонов.

Заклятыин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

– Где же выход? Где выход?!

– Успокойтесь, – участливо сказал Рукавов, глядя его по плечу. – Хотите чаю?

– Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..

– Да ведь чай-то пить все равно нужно, – улыбнулся Рукавов. – Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

– Ах ты, Господи... Ну, давайте!!

– Вам два куска сахара? Три?

– Три.

– Крепкий любите?

– Рукавов! Где же выход?

– У вас же был выход, – тихо усмехнулся Рукавов. – Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

– Нет, – серьезно сказал Заклятыин. – Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

– И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, душевного – ничего нет. Все от него идет, – все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятыин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

– Рукавов, – проскрежетал он. – Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой – стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

– Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что, если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас – ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня – клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед вами, что я – Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирененько, милый. Ну, вот.

Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему...

Плечи Заклятыгина судорожно передернулись.

– Я Надю никогда не забуду.

– Ничего-о, миленький... забудете, – мягко, простодушно протянул Рукавов. – Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну – убейте меня. Только что ж... Если хорошенько вдуматься – ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости – не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

– Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина – нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, – потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины – творцы красоты жизни, творцы ее смысла – должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний – мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он – неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет – совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли – новая жизнь пронесется над ними – и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятын пожегал еше немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.

Золотой век

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.

– Что... пишу?

– Ну, вообще, – сочиняешь!

– Да я ничего и не сочиняю.

– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.

– На что слуха?

– Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?... Музыкантом...

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.

– Не надо. На сцене играл?

– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли – это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?

– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

– Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого»... Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

– Можно писателем.

– «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

– А портрета еще не нужно?

– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

«Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем: справедливо ли это? С одной стороны – Кандыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

– Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капитану пощечину?

– Да ведь вы читали, – сказал я. – Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

– Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно воскликнул репортер.

– Все равно. Великие имена должны быть святыней, – строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавым я спросил его:

– Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

– Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом, это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

– А какую вещь я начал?

– Драму «Грани смерти».

– Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

– Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная-неутомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглаву и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

– Какой юбилей?

– Двадцатипятилетний.

– Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

– Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

– Ты рассуждаешь, как Толстой, – восхищенно вскричал Стремглавов.

– Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

– Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: Здравствуй, Кандыбин!!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. – Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Преступление актрисы Марыськиной

Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерше Любарской.

– Ого! – сказала премьерша.

Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику Закатову.

– Боже! – с ужасом в глазах вздохнул любовник. – Здесь фунта два! Не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта – не выучу.

«Дурак ты, дурак!», – подумала выходная актриса Марыськина.

– Это не роль, а библия! – вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки.

«Дура ты, дура, – подумала Марыськина. – Оторвала бы для меня листков десять – я бы вам показала!»

Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучинин-Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова.

Марыськина с аппетитом проплотила слюну и спросила, сдерживая рыдания:

– А мне?

– Есть и тебе, милочка, – улыбнулся режиссер. – Вот тебе ролька – пальчики проплотишь.

Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная, измятая бумажка.

– Это такая роль?

– Такая.

– Да где она?

– Вот.

– Я ее и не вижу, – обиженно сказала Марыськина.

– Ничего, – вздохнул режиссер, – она маловата, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья – во втором акте.

– А что я говорю?

– Вот что: «...в числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой... („с ней“ – указал режиссер на Любарскую)...

говорит: „Наконец-то собралась к вам, милые мои...“ Солнцева: „Очень рада, садитесь“. – „Сяду и даже чашечку чаю выпью“. – „Сделайте одолжение!“ Полуянова садится, пьет чай».

– И это все? – с отвращением спросила Марыськина. – Хоть бы две странички дали...

– Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту сколько: «Наконец-то собралась к вам, милые мои...» Ведь это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «...Сяду и даже чашечку чаю выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама заявляет – «выпью»! Вот оно где, темное купеческое царство гениального Островского: сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесенная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: «Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет! Этакая бесцеремонность: «Сяду и даже чаю выпью». Хе-хе! Ты бесцеремонность-то подчеркни!

Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль и сказала:

– А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир... У нее есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И она, нежная, тонкочувствующая, рвется куда-то.

– Ладно, – равнодушно кивнул головой режиссер. – Пусть рвется. Это не важно. Тебе виднее...

– Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой...

– Толкуй! Дальше... «Роль слуги Дамиана»! Это вам, Аполлонов. «Горничная Катерина» – Рабынина-Вольская!

Марыськина отошла в угол в задумчивости...

* * *

...Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой (Любарская). Собираются гости, приходит комик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова (Закатов), изменившего ей с баронессой.

Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены – тихий разговор ничего не подозревающих гостей...

Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала:

– Неужели? О, негодяй!

В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших.

Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой (Марыськиной), и когда суфлер сказал: «Ах, это вы... вот приятный сюрприз!» – хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила:

– Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз!

Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала:

– Наконец-то собралась к вам, милые мои!

– Очень рада, – приветливо сказал суфлер. – Садитесь.

Хозяйка дома вполне согласилась с ним:

– Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не садитесь? Садитесь!

Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала:

– Сяду, и даже чашечку чаю выпью!

Она опустилась на диван, и сердце ее больно сжалось. «Все... – подумала она. – Все! Вот она и роль!..» И неожиданно сказала вслух:

– Да... что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым – там и напьюсь.

Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху.

– Сделайте одолжение, – согласился гостеприимный суфлер.

– Пожалуйста! Сделайте одолжение... Я очень рада, – преувеличила Солнцева.

– Да... – сказала Марыськина. – Ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу.

– Замолчите! – прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой. – «Солнцева отходит к другим гостям».

– Что это вы, милая моя, такая бледная? – спросила вдруг Марыськина. – Неприятности?

– Да... – пролепетала Солнцева.

От приветливости суфлера не осталось и следа.

– Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорите слова, которых нет? «Солнцева отходит к другим гостям»! Солнцева! Отходите!

Солнцева, смотревшая на Марыськину с неммым ужасом, напрягла свои творческие способности и сочинила:

– Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай.

– Успеете поздороваться, – печально прошептала Марыськина. – Ах, если бы вы знали, душечка... Я так несчастна! Мой муж – это грубое животное без сердца и нервов!

Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула:

– Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком.

– Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! – прошептал энергично суфлер. – Оштрафует тебя Николай Алексеич – будешь знать!

– Передо мной рисуется другая жизнь, – сказала Марыськина, ломая руки. – Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!

– Успокойтесь! – сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное ужасом лицо. – Извините... Я пойду к другим гостям.

Марыськина схватилась за голову.

– К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на каких-то пошляков... О, божже, как тяжело... Все знают только – ха-ха! – богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать... Господи! Какое мучение!

– Она с ума сошла! – сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз.

– Пусть я не святая! – вскричала Марыськина, подходя к рампе. – Я женщина, и я люблю... Пусть! И знаете кого?

Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом:

– Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой, и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы – ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется – да! Я имею любовника, и фамилия его – Тиходумов.

– Вон со сцены! – прорезал из-за кулис режиссер, «Истерику бы, – подумала Марыськина. – Если уж чем выдвинуться, то истерикой».

Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали... Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова:

– Пусть! Пусть... Я его вам... не отдам. Ты у меня его не возьмешь... змея!

Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову.

И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова:

– А эта Солнцева богато живет... У нее шикарно!

– Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.

– Кто говорит? Я об этом ничего не слышал... Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой:

– Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Хаха! Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить своей жизни! Не вам, червям, бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!

Марыськина вышла... и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах...

* * *

Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней.

– Вот твои вещи – их уже уложили. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафа – три! На.

– Ладно, – сказала устало Марыськина. – Пусть... вещи на извозчика.

– Никифор! Выброси на извозчика ее вещи.

– Прощайте.

– Вон!

Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое, истасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.

Волчья шуба

Конспект:

Пианист Зоофилов взял на время у чиновника Трупакина волчью шубу... Пообещав вернуть шубу через неделю, Зоофилов не только не вернул ее, но вместо этого продал ее татарину, а деньги с приятелями пропил в трактире. Трупакин был чрезвычайно огорчен поступком Зоофилова.

I

В жестокий декабрьский мороз пианист Зоофилов сидел в комнате своего знакомого чиновника Трупакина и говорил ему так:

– Не можете ли вы, миленький, одолжить мне на неделю вашу волчью шубу... Мне нужно ехать на концерт в Чебурахинск, а пальтишко мое жидкое. До Чебурахинска на лошадях еще верст тридцать. Сделайте доброе дело – одолжите шубу на недельку.

– А вдруг она пропадет? Вдруг вы ее потеряете?

– Ну, что вы... Как можно!

– А вдруг мне самому понадобится?

– Да ведь у вас другая есть, новая.

Чиновник Трупакин прикусил сухими губами сизый ус, посмотрел в окно и сказал:

– Так-то оно так. Это верно. Добрые знакомые всегда должны помогать друг другу. Слава Богу – не звери же мы, в самом деле. Хорошо, Стефан Семеныч. Я вам дам шубу. Человек не собака, и замерзать ему невозможно...

Глаза пианиста заблестали радостью.

– Даете? Ну, вот – спасибо!

– Уж раз сказал, что дам – то дам. Отчего же... Ведь шубы от этого не убудет. Не правда ли?

– Конечно, конечно.

– Я и сам так думаю. Марья Семеновна! Чиновник Трупакин обратился к вошедшей жене:

– Вот, Мари, пианист наш замерзнуть в своей турне боится. Дай ему шубу волчью.

– И прекрасно, – сказала жена. – Все равно так лежит.

– Я и сам так думаю. А то что ж человека морозить – звери мы, что ли?

– Я вам очень, очень благодарен, Исай Петрович!

– Ну, какие там благодарности... Все мы должны помогать друг другу! Не дикари ж, в самом деле, не звери. Хе-хе! Слава Богу, крест на шее есть.

В кабинете зазвонил телефон.

– Алло! – сказал Трупакин, беря трубку. – Вы, Анна Спиридоновна? Как поживаете... Что? Спасибо. Что? Зоофилов у меня сейчас сидит... Да... Какой случай: морозы адские, а ему в концерт ехать нужно. Так уж он у меня волчью шубу берет. Да и пусть. Лучше уж пусть она живую душу греет, чем даром лежит. Не дикари, слава Богу... Что? Прощайте.

Трупакин повесил трубку и доброжелательно взглянул на Зоофилова:

– Сегодня хотите забрать? Сейчас я вам это и устрою. Палашка! Послушай, Палашка, достань из сундука шубу и, завернув в простыню, отдай барину. Он, видишь ли ты, Палашка, попросил ее одолжить на время, потому что ехать барину нужно, а дедушка-мороз, хе-хе, кусается. Да почему, думаю себе, не дать? Сем-ка я выручу хорошего человечка.

Трупакин добродушно засмеялся, и морщинки веселой толпой сбежали около его глаз. Разогнав эту самовольную сходку, Трупакин покачал головой, вздохнул и промолвил:

– Ах, как было бы хорошо, если бы все люди помогали друг другу. Жилось бы слаще и теплее. Уходите? Ну, всех вам благ. Шубочку-то не забудьте захватить. Когда едете? Послезавтра? Ну-ну...

Зоофилов еще раз поблагодарил Трупакина в самых теплых выражениях и, захватив волчью шубу, ушел. А Трупакин решил съездить в клуб. Оделся, вышел и сел на извозчика.

– Ну что, едешь? – спросил извозчика, когда лошадь тронулась.

– Езжу.

– Это, брат, хорошо. Летом-то небось вашему брату легче...

– Да оно как будто послободнее.

– Зимой холодно ведь, чай?

– Да, холодно.

– То-то и оно. Бедному человеку, братец ты мой, зимой зарез.

– Верно. В самую точку будет сказать.

– Да-а, братяга. Тут ко мне вот один музыкант ходит. Такой, братец ты мой, что сплошная жалость возьмет на него глядеть. Морозы-то большие, а ему, слышь, ехать нужно музыкарить. Что ж ты думаешь – дал я ему шубу свою волчью. На, мил человек. Мне не жалко. Верно?

– Да-с.

– То-то и оно. Тут, брат, уж сквалыжничать нечего. Не людоеды, слава Богу. В груди-то тоже сердце есть. Не правда ли?

– Верно. Бедному человеку зачем не спомочь.

– То-то и оно. Дал я ему волчью шубу. На, носи. Сам, брат, Христос заповедал помогать страждущим. Не так ли?

Извозчик в ответ на это помолчал и потом шмыгнул носом так сильно, что лошадь побежала вскачь.

II

Провожать Зоофилова на вокзал собрались несколько приятелей.

– А ловко ты устроился, – сказал одобрительно актер Карабахский, похлопывая Зоофилова по спине.

– С чем устроился?

– Да с шубой. Ведь ты ее у Трупакина взял. Добрый старичок и очень обязательный.

– А ты откуда знаешь о шубе?

– Он же вчера в клубе вскользь сказал. Душа-парень, видно. Истый христианин. «Надо, говорит, ближним помогать. Мы, говорит, слава Богу, не тигры какие-нибудь». Добрейшей души старикан.

К беседовавшим друзьям подлетела, потирая руки, покрасневшая от холода Манечка Белобородая.

– Едете? – сказала она, смотря на Зоофилова влюбленными глазами. И шепнула так, чтобы никто не слышал: – Не забудете? Не охладете?

– Манечка! Что ты...

– Положим, охладеть вам трудно. В крайнем случае трупакинская шуба вас согреет.

– Тру... пак...?

– Ну да. Я совершенно, совершенно случайно узнала, что вы были такой умница и выпросили у него шубу.

– Откуда же вы узнали? – угрюмо спросил Зоофилов. – От Трупакина?

– Да нет же! Это мне сказала сегодня подруга по курсу. Не знаю, кто ей это сообщил. Милый Трупакин! Если бы он был здесь, я бы его за это расцеловала!

Пришел проводить Зоофилова и Трупакин. Он был в отчаянии, что опоздал и успел только к третьему звонку.

Поезд тронулся. Стоя на площадке, Зоофилов посылал друзьям воздушные поцелуи и слышал, как Трупакин говорил окружающим:

– Как, думаю, молодого человека отпустить в подбитом ветром пальтишке?.. Хех-хе. Дал шубу. Волчью. Хорошая еще шубенка. Пусть, думаю, погрееется, бедовая голова. Слава Богу, не леопарды какие-нибудь. Человек не собака, и замерзнуть ему неподходящее дело.

Через час Зоофилов стал устраиваться на ночлег. Сквозь закрытую дверь купе он слышал разговор кондукторов:

– Куда же его посадить, ежели все занято? На голову, что ли?!

– Куда, куда... Идиётская голова! Ну, посади его в то купе, в котором господин в трупакинской шубе едет. Невелика птица – подвинется.

III

Чебурахинск был городишка маленький, но собственную газету имел.

Устроитель концерта через пять минут после приезда Зоофилова доброжелательно подмигнул ему и, вынув из кармана «Чебурахинский голос», показал отчеркнутое место:

«Мы счастливы приветствовать известного пианиста Зоофилова, посетившего наш богоспасаемый город с целью дать концерт на пианино. Публика, конечно, подарит своей благосклонностью виртуоза, который приехал, даже невзирая на суровую температуру.

Кстати, несколько черточек из жизни концертанта: рассказывают, что беззаботный артист собрался ехать в турне налегке, не имея теплого платья, и в самый последний момент положение было спасено другом талантливого артиста, Трупакиным, одолжившим ему волчью шубу. Только таким образом талантливый артист мог, как говорили древние, перейти через Рубикон»...

После концерта Зоофилов ужинал со своим импрессарио и с поклонниками.

Было много выпито... пили за всех: за Зоофилова, за искусство, за поклонников, за Бетховена...

– Спасибо за теплый прием, – сказал, утирая слезу, Зоофилов.

– Нет, – сказал подвыпивший импрессарио... – Давайте выпьем лучше за то, что согрело Зоофилова лучше нашего приема: за знаменитую трупакинскую шубу!

Зоофилов вскочил с места так порывисто, что опрокинул стул.

– Стойте! – закричал он. – Не могу больше!! Дайте мне татарина! Ради Бога! Где тут у вас татарин!

IV

– Алло! – сказал Трупакин, беря телефонную трубку. – Кто у телефона? Анна Спиридоновна? Мое почтение! Что? Как? Да, плохо. Никак я не могу, старый дурак, разочароваться в людях. А они и пользуются этим... Сижу я теперь и думаю: стоит ли делать людям добро. Что? А случилось то, что я по своей доброте одолжил на недельку этому несчастному Зоофилову хорошую волчью шубу, а он... что бы вы думали, что он сделал? Ни более ни менее, что продал ее татарину, а деньги пропил со своими распутными друзьями... Стоит ли после этого... Что? Прощайте.

Трупакин повесил трубку и, печально опустив голову, вышел в прихожую.

– Я уйду, Палашка... Вот, брат Палашка, отплатили мне, старому дураку, за мое доверие. Волчья-то шуба – ау! Не-ет! Видно, добро-то нынче не в цене... Не люди пошли, а тигры пошли, господа!..

Выйдя на улицу и усевшись на извозчика, Трупакин втянул в себя воздух и сказал:

– А морозец-то здоровый!

– Да... Подковыривает.

– Бедному-то человеку, который без шубы, круто.

– Это уж и разговору нет.

– Да только, брат, нынче не человек пошел, а леопард. Ходил тут ко мне музыкант один – и дай да дай ему волчью шубу! Холодно, вишь, ему было... Ну-с, дал я ему шубу, и что ж бы ты, брат извозчик, думал...

Опора порядка

I

Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, подомашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.

– Вот, – сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало. – Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука – наша работа... Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Манькину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрюсь к нему – остальное сделано.) Итак, – письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель!

Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись зашагал по направлению к квартире адвоката Манькина.

– Так-то, – бормотал он сам себе под нос. – Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные, шельмы... Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе!

У подъезда Манькина он смело нажал кнопку звонка; горничная впустила его в переднюю и спросила:

– Как о вас сказать?

– Скажите: Петр Сидоров. Ищет места письмоводителя.

– Подождите тут, в передней.

Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:

– Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители. Бородишу наклеил, подмазался – прямо умора.

– Сейчас я к нему выйду, – сказал Манькин. – Ты его где оставила, в передней?

– В передней.

– После посмотришь под диваном или за вешалкой – не сунул ли чего? Если найдешь, выброси.

– Как давеча?

– Ну, да! Учить тебя, что ли? Как обыкновенно. Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил:

– Ко мне?

– Так точно.

– А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось...

– Да разве вы меня знаете? – с наружным удивлением воскликнул Макаронов.

– Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они плядут в окно: «Вон, говорят, папин шпик пришел... Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».

– Что вы, господин, – всплеснул руками Макаронов. – Какой же я шпик?! Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель – Петр Сидоров.

– Лизавета! – крикнул адвокат. – Дай мне пальто. Ну, что у вас в охране... Все по-старому?

– Мне бы местечко письмоводителя... – сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката. – По письменной части.

Адвокат засмеялся:

– А простой вы, хороший народ, в сущности. Славные детишки. Ты что же сейчас: за мной, конечно?

– Местечка бы, – упрямо сказал Макаронов.

– Лизавета! Выпусти нас. Вышли вместе.

– Ну, я в эту сторону, – сказал адвокат. – А ты куда?

– Мне сюда. В обратную сторону.

Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Манькиным. Он потихоньку, как тень,

крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, – это что адвокат его не замечает.

Адвокат приостановился и спросил, обернувшись вполоборота к Макаронову:

– Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?

– Ах, как это странно, что мы встретились, – с искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов. – Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.

«Ловко это я про тетку ввернул», – подумал, усмехаясь внутренне, Макаронов.

– Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня...

– Нет ли у вас места письмоводителя? – спросил Макаронов.

– Ну и надоел же ты мне, ваше благородие, – нервно вскричал адвокат. – Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.

– Поезжайте, – пожал плечами Макаронов. («Ага! Следы хочет замести... Понимаем-с».) А я тут к одному приятелю заверну.

Манькин нанял извозчика, сел в пролетку и, оплянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.

– Эй, – закричал он, высовываясь. – Как вас... письмоводитель! Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономию сделаем?

– Я вас не понимаю, – солидно возразил Макаронов.

– Чем нам на двух извозчиках трепаться – поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам. Идет?

Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать».

– Ужасно тяжело, знаете, быть без места, – сказал он с напускным равнодушием. – Чуть не голодал я, вдруг – вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду.

Адвокат вынул папиросу.

– Есть спичка?

– Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?

– Бомбы делаю еще, – подмигнул ему адвокат. Сердце Макаронова радостно забилося.

– Для чего? – спросил он, притворно зевая.

– Мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте... У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так!.. Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам ее поправлю. Ну теперь хорошо. Давно в охранном служите?

– Не понимаю, о чем вы говорите, – обиженно сказал Макаронов. – Жил я все время у дяди – дядя у меня мельник, а теперь места приехал искать... Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?

– Отвяжись, братец. Надоел! Макаронов помолчал.

– А из чего бомбы делаете?

– Из манной крупы.

«Хитрит, – подумал Макаронов. – Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».

– Нет, серьезно, из чего?

– Заходи – рецептик дам.

II

Подъехали к большому дому.

– Мне сюда. Зайдешь со мной?

Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.

Зашли к портному.

Манькин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвоката кармана лежавшие там письма и бумаги.

– Брось, – сказал ему адвокат, глядя в зеркало. – Ничего интересного. Как находишь – хорошо сидит жакет?

– Ничего, – сказал шпик, пряча руки в карманы брюк. – Тут только как будто морщит.

– Да, в самом деле морщит. А жилет как?

– В груди широковат, – внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик.

– Спасибо, братец. Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы поедем.

После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.

– Налево, к подъезду, – крикнул адвокат. – Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.

– А вы скоро?

– Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.

Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвоката голова.

– Эй, ты... письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер десятый на минутку.

– Ключет, – подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.

В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист. Адвокат тоже вышел и сказал:

– Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпииков. Просили показать. Вот он, mesdames. Хорош?

– А борода у него, что это... Привязная?

– Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик. Он на тебя широковат.

– Что, страшно быть шпииком? – спросила одна дама участливо.

– Нет ли места какого? – спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. – Который месяц я без места.

– Насмотрелись, господа? – спросил адвокат. – Ну, можешь идти, братец. Спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой... Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери... А теперь иди.

Когда адвокат вышел на улицу – Макаронова не было.

– А где этот фрукт, что со мной ездил? – спросил он извозчика.

– Да тут за каким-то бородастым побёг.

– Этого еще недоставало! Не ждать же мне его тут на морозе.

Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.

– Ты где же это шатаешься, братец? – строго прикрикнул Манькин. – Раз тебе поручили за мной следить – ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх, ты... На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерялась. Вот так...

Пригодится. Засунь ее дальше – из кармана торчит. Черт знает что! Извозчик! В ресторан «Слон».

Подъехали к ресторану.

– Ну, ты, сокровище, – спросил адвокат. – Ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли.

– У меня денег маловато, – робко сказал сконфуженный шпик.

– Ничего, пустое. Я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день вместе. А?

«Пойду-ка я с ним, – подумал Макаронов. – Подпою его да и выведу, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».

Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.

Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.

– Вот, – сказал он ворчливо. – Привез вам сокровище. Получайте... Ваш?

– Будто наш.

– Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать... И как это он успел так быстро и основательно нарезаться... Пойдите, осторожнее, осторожнее! Вы ему так голову расквасите. Берите под мышки! Пойдите... У него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные... Гм!.. Возьмите... Ах, чуть не забыл... У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, – чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!

На «Французской выставке за сто лет»

– Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

– Почему?

– Так как-то... Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство, почему искусство? – никто не знает.

– Я вас немного не понимаю, – что вы хотите сказать словами: «Почему искусство»?

– Да так: я вот вас спрашиваю – почему искусство?

– То есть как – почему?

– Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

– Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

– Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.

– Давайте лучше рассматривать картины.

– Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

– Что ж тут особенного рассматривать – вот я уже и рассмотрел.

– Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

– Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощ. Интересно, как она называется?

– А какой номер?

– Сто двадцать седьмой.

– Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: «Стол с яблоками» или «Плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: «Стол с апельсином». А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

– Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

– Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина – это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется «новым искусством»! Новыми путями! Может, скажете – опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: «Вид с обрыва»! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

– Это не англичане, а французы.

– Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют «Заседание педагогического совета»!

– А знаете – это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

– Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь сослал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинец с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: «Моя мать»... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами – кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый – «Моя мать»? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

– Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

– Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом

– с академической выставки, которая...

– Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, –
ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

Быт

Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (то было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.

Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке. И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.

И когда сел за столик, сразу на меня пахнуло суровостью и враждебностью незнакомого места. Было как-то холодно, страшно и неуютно... Официанты казались слишком необщительными, замкнутыми, метрдотель слишком величественным, а публика слишком враждебной и неприветливой.

«Господи! – подумал я. – Как мало в человеческих отношениях простоты, сердечности и уюта. Ведь они все такие же люди, как я; почему же они все так накрахмалены?! Так холодны? Чужды? Страшны?»

– Что прикажете? – сухо спросил метрдотель.

– Мне бы позавтракать.

– Простите, завтраков нет. Только до трех часов. А сейчас четверть четвертого.

– А вот те едят же, – смущенно кивнул я головой.

– Те заказали раньше, – ледяным тоном ответил метрдотель.

– Значит, что же выходит: что у вас мне не дадут есть?

– Почему же-с. Можно порционно. Но долго придется ждать: пока закажут, пока сделают.

– Тогда... ничего мне не надо, – сказал я, густо покраснев от сознания своего глупого положения. – Если у вас такие нелепые порядки – я уйду.

Я встал и, понуриив голову, обескураженный, ушел, давая себе слово никогда больше в этот суровый ресторан не заглядывать.

Как это случилось – не знаю, но теперь это мой излюбленный ресторан.

Я в нем каждый день завтракаю, почти каждый день обедаю и часто ужинаю.

Швейцар на подъезде высаживает меня с извозчика и говорит:

– Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич! Снимая с меня пальто, другой швейцар замечает:

– Снежком-то вас как, Аркадий Тимофеевич, занесло... Погодка – прямо беда! А вас тут спрашивали Анатолий Яковлевич.

– Он ушел?

– Ушли-с. А Николай Николаевич здесь. Они с господином Чимарозовым сидят.

Я вхожу в зал.

Полный, вальяжный официант дает мне лучший столик, подсовывает карточку с тайной ласковостью, радуясь, что может вернуть такое словцо, говорит:

– Бульонерши, конечно? Традиционно?

– Традиционно, – улыбаюсь я.

И действительно традиционно. Все традиционно... Буфетчик у буфета, наливая мне рюмку лимонной водки, сообщает, что «были Николай Николаевич и о вас справлялись», не спрашивая, поливает шофруа из утки соусом кумберленд и, не спрашиваясь, выдавливает на икру пол-лимона.

А сбоку подходит француз-метрлотель и говорит, мило грассируя:

– Вот, Аркадий Тимофеевич, говорят: заграница, заграница! А вы посмотрите, какие мы получили мандарины из Сухума – в десять раз лучше заграничных! Я вам пришлю отведать.

И все, что окружает меня в этом ресторане, дышит таким уютом, таким теплом и прочной лаской, что чувствуешь себя как дома, как в своей собственной маленькой столовой.

Когда меня впервые оштрафовали за какую-то заметку, я пережил несколько очень тягостных, неприятных часов.

Так было странно и неудобно, когда утром пришел околоточный и, несмотря на то что я еще спал, потребовал, чтобы его провели ко мне.

– Да барин еще спит.

– Ну, все равно я подожду: посижу здесь, в приемной.

– Да он, может быть, еще часа два будет спать...

– Ну, что же делать. А я его должен подождать. Дело срочное.

А когда я, наскоро одевшись, вышел к нему, меня поразило его неприветливый, гранитный вид.

– Что такое?

– Здравствуйте. Тут вот с вас нужно штраф взыскать... По распоряжению администрации.

– Да что вы говорите! Какой штраф? За что?!

– А вот тут сказано: за статью «Триумф октябристов».

– Позвольте! Да статья совсем безобидная!

– Не знаю-с. Меня не касается. Мне приказано взыскать деньги нынче же.

– Ну... а если я не уплачу?

– Тогда я обязан доставить вас в участок на предмет ареста.

Боже ты мой, как сухо, как официально. Ни одной сердечной нотки... ни одного знака сочувствия.

Стоишь перед холодной гранитной стеной, которая не сдвинется, не пошевелится, хотя бы облить ее целыми ручьями слез человеческих.

– А завтра уплатить можно?

– Не могу-с. Циркуляр. Мы отсрочить не имеем права. И вспомнился мне тот величественный метрдотель, который категорически отказал в завтраке только потому, что было на пятнадцать минут больше трех.

Суровый, безжизненный, холодный гранит! Угрюмый, замкнутый в своем величии мавзолей!

* * *

Как это случилось, не знаю, но теперь я в полиции свой человек.

Околоточный входит ко мне утром в спальню (он милый человек, и я его не стесняюсь), потирает руки и делает несколько веских замечаний о погоде:

– Собачья погода. Снегом совсем запорошило. Теперь в наряде стоять – одна мука. Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!

– А! Мое почтение, Семен Иванович. Ну, что? Он улыбается.

– Традиционно!

Говорит он это вкусно-звучащее слово совсем так, будто бы за ним должен последовать «бульон-ерши».

Я уже не испытываю тягостного, неприятного чувства живого человека перед мертвой гранитной скалой. У нас тепло, дружба, уют.

– За что это они, Семен Иванович?

– А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?

– Господи, да за что же тут?

– За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать... Знаете уж, что такая вещь бывает, – пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.

– Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» И так уж розовой водицей пишу. Так нет же, и это для них нецензурно.

– Да уж... тяжеленька ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходиться... Ей-богу, Аркадий Тимофеевич.

– Ну, что делать... Стаканчик чаю, а?

– Нет, уж я папироску выкурю и побегу. Дома-то у меня такая неприятность, жена кипятком руку обварила.

– А вы тертый картофель приложите: чудесно действует. Или чернилами обваренное место помажьте.

– Делали уж; и чернилами и картофельную муку прикладывали.

– Ну, даст Бог, пройдет. А Афансий Петрович по-прежнему чертит?

– Да уж... горбатого могила исправит. Ну, я пойду. С деньгами как – традиционно? До завтра?

– Да, конечно. Я к Илье Константиновичу часа в три загляну. Всего хорошего.

В три часа я у Ильи Константиновича.

– А, господин анархист, – весело встречает он меня. – Традиционно? Садитесь! Я знаю, вы моих не курите, так я вам эти предложу, был Петр Матвеевич и забыл их у меня на столе. Курите контрабанду. Хе-хе.

– У Петра Матвеевича папироски хорошие, – соглашаюсь я, закуривая. – Марфу Илларионовну давно видели?

– Позавчера. В театре были. Потом поехали компанией ужинать и очень жалели, что вас не было.

– Да, да, очень жаль. Кстати, там у вас есть насчет меня предписание... четыреста рублей, так я...

– Знаю! Завтра, конечно, Аркадий Тимофеевич. А я те книжки, что вы мне дали, уже прочел. Следующий раз с Семеном Ивановичем их передам.

О «следующем разе» мы оба говорим так же хладнокровно, как о завтрашнем дне, который все равно, неизбежно наступит...

Однажды я, по обыкновению, разогнался в свой излюбленный ресторан, и вдруг швейцар остановил меня на пороге:

– Сегодня, Аркадий Тимофеевич, закрыто: по случаю начала ремонта.

Я заглянул в залу, и сердце мое сжалось: не было привычных столов, покрытых белоснежными скатертями, мягкого красного ковра и зелени трельяжей.

– Э, черт! Какого же дьявола вы не объявили раньше!

Однажды утром ко мне явился околоточный Семен Иванович.

Он обругал погоду и сообщил о нескольких новых штрихах в облике неуравновешенного Афанасия Петровича.

– Садитесь, – сказал я. – За какую статью? Сколько?

– Нисколько. Я зашел, чтобы вы подписали протокол по делу о столкновении моторов. Вы свидетелем были.

Чем-то чужим, неуютным пахнуло на меня... Будто бы взору моему вместо привычного вида трех рядов столов, покрытых скатертями и украшенных цветами, предстала суровая, чуждая картина голых стен и обнаженного от мягкого ковра пола.

И разговор на этот раз не вязался. Мы были выбиты из привычной колеи...

Когда нет быта, с его знакомым уютom, с его традициями – скучно жить, холодно жить...

Рассказ о колоколе

На случай, который я расскажу ниже, могут существовать только две точки зрения: автору можно поверить или не верить.

Автору очень хочется, чтобы ему поверили. Автор думает, что читателя тронет это желание, потому что обыкновенно всякому автору в глубокой степени безразлично – верит ему читатель или нет. Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить безусловное доверие читателя.

Автор же нижеописанного – в отдельном абзаце постарается привести некоторые доказательства тому, что весь рассказ не выдумка, а действительный случай.

Именно – автор дает честное слово.

Глава I

Однажды, в конце великого поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне.

О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное.

Впрочем, и не удивительно, что про колокол ходили такие слухи: он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные и рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов. Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу – и отблагодарил его.

Глава II

Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос воскрес из мертвых...», как колокол, управляемый опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном.

Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании свяченого кулича, потому что погода была дождливая и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.

Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене:

– Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Кознаковой. Ты уж извини меня, пожалуйста!

Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила:

– Хотя это, конечно, и правда, но я должна сознаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что вы старый и ваши уши поросли противным мохом. А вступила с вами в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков, Василий Петрович. О, пощадите меня!

– Могу ли я вас обвинять, – пожалала плечами жена Холмушина, – когда мой средний сын Петичка не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве.

– Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник? – прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист четвертого класса.

– Почему?

– Вероятно, я в него удался: можете представить, в третьей четверти у меня поставлены две единицы, а я переправил их на четыре да и показал отцу.

– Дитё! – снисходительно улыбнулась старая нянька. – Сколько я у вас, господа вы мои, сахару перетаскала за все время, так это и пудами не сосчитать. Анадьсь банку с вареньем выела, а потом разбила да на Анюточку и свалила: будто она разбила.

– Ничего! – махнула рукой маленькая Аня. – За банку мне только два подзатыльника и попало, а того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила, – никто и не знает.

Инспектор встал, потянулся и сказал:

– Пойти разве в кабинете написать в правление нашего общества заявление, что я третьего дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора конки.

– Как же вы пошлете это заявление, – возразила горничная Нюша, – если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала.

– Жаль, – сказал инспектор. – Ну, все равно – поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело – уголовное.

Глава III

Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил... Нищий подошел к нему и укоризненно сказал:

– Вы мне уже третий год даете то две, то три копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?

– А что?

– Да я в сто раз, может быть, богаче вас: у меня есть два дома на Московской улице.

Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил:

– Где тут принимают заявления о побеге с каторги?

– Пойдем вместе, – сказал инспектор. – Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.

– И я с вами, – привязался нищий. – Ведь я один-то дом нажил неправильным путем – обошел сиротку одну. Лет двадцать как это было – да уж теперь заодно заявить, что ли?

Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел на участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее.

Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:

– Покупатели! Ничего нет настоящего у меня в магазине – все фальшивое! Мыло, масло, табак, икра – даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор – удивляюсь.

– Каяться вы все мастера, – возразил шедший мимо покупатель, – а того, что я тебе вчера фальшивую сторублевку подсунул, – этого ты небось не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?

Глава IV

В участке было шумно и людно.

Пристав и несколько околоточных сортировали посетителей по группам – мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали.

– Вы что? Ограбление? Что? Вексель подделали! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, врешь! Свидетели есть? Господа! Ради Бога, не все сразу – всем будет место. Сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата?! Не держите его больше – и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже – уходите!

– Господин пристав! Как же так уходите? А что у меня два года фабрика фальшивых полтинников работает – это, по-вашему, пустяки?

– Ах ты, Господи! Сейчас только гравера со сторублевками выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться.

– Да ведь то бумага, дрянь – вы сами рассудите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!

– Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в конвертике? Больше не беру. Ни-ни!

Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул:

– Это еще что за шум! Вы мешаете работать. Я как раз подсчитывал полученные от... Эй, гм! Кто там есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозможно! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно.

Глава V

Колокол сняли...

Он долго лежал у задней стены соборной ограды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык – язык давно уже, по распоряжению полицмейстера, был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготавливал хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды.

Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю, – но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделявавший медные пуговицы для форменных мундиров.

* * *

Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутый на пуговицы, – блестящие серебряные пуговицы, – знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь.

Пуговицы хорошие, никогда сами собою не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орден на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не услышит.

Святые души

Бывают такие случаи в жизни, в которых очень трудно признаться.

I

Сегодня утром я, развернув газету и пробегая от нечего делать отдел объявлений, наткнулся на такую публикацию:

«Натурщица – прекрасно сложена, великолепное тело, предлагает художникам услуги по позированию».

Хи-хи, – засмеялся я внутренне. – Знаем мы, какая ты натурщица. Такая же, как я художник...

Потом я призадумался. Поехать, что ли? Вообще я человек такой серьезный, что мне не мешало бы повести образ жизни немного полегкомысленней. Живут же другие люди, как бабочки, перепархивая с цветка на цветок. Самые умные, талантливые люди проводили время в том, что напропалую волочились за женщинами. Любовные истории Бенвенуто Челлини, фривольные похождения гениального Байрона, автора глубоких, незабываемых шедевров, которые останутся жить в веках.

– Извозчик!!

В глубине большого мрачного двора я отыскал квартиру номер седьмой и позвонил с некоторым замиранием сердца.

Дверь открыла угрюмая горничная – замкнутое в себе существо.

– Что угодно?

– Голубушка... Что, натурщица, вообще... здесь?

– Здесь. Вы художник? Рисовать?

– Да... я, вообще, иногда занимаюсь живописью. Вы скажите там... Что, вообще, мол, все будет как следует.

– Пожалуйста в гостиную.

Через минуту ко мне вошла прекрасно сложенная, красивая молодая женщина в голубом пеньюаре, который самым честным

образом обрисовывал ее формы. Она протянула мне руку и приветливо сказала:

– Вы насчет позирования, да? Художник?

«Пора переходить на фривольный тон», – подумал я.

– Художник? Ну что вы! Хе-хе! Откуда вы могли догадаться, что я художник?

Она засмеялась.

– Вот тебе раз! А зачем бы вы тогда пришли, если не художник? В академии?

– Нет, не в академии, – вздохнул я. – Не попал.

– Значит, в частной мастерской. У кого? Я общительно поглядел ее руку.

– Какая вы милая! А вот догадайтесь!

– Да как же можно догадаться... Мастерских много. Вы можете быть и у Сивачева, и у Гольдбергера, и у Цыгановича. Положим, у Цыгановича скульптура... Ну, еще кто есть?.. Перепалкин, Демидовский, Стремоухов... У Стремоухова, да? Вижу по вашим глазам, что угадала.

– Именно, у Стремоухова, – подтвердил я. – Конечно, у него.

Она оживилась.

– А! У Василия Эрастыча! Ну, как он поживает?

– Да ничего. Пить начал, говорят.

– Начал? Да он, кажется, лет двадцать, как пьет.

– Ну? Эх, Стремоухов, Стремоухов! А я и не знал. Думал сначала: вот скромник.

– Вы ему от меня кланяйтесь. Я его давно не видала... С тех пор, как он с меня «девушку со змеей» писал. Я ведь давно позирую.

– Да? Вы серьезно позируете? – печально спросил я.

– То есть как – серьезно? А как же можно иначе позировать?

– Я хотел сказать: не устаете?

– О нет! Привычка.

– И неужели совсем раздеваетесь?

– Позвольте... А то как же?

– Как же? Я вот и говорю: не холодно?

– О, я позирую только дома, а у меня всегда 16 градусов. Если хотите, мы сейчас можем поработать. Вам лицо, бюст или тело?

– Да, да! Конечно!! С удовольствием. Я думаю – тело. Без сомнения, тело.

– У вас ящик в передней?

– Какой... ящик?

– Или вы с папкой пришли? Карандаш?

– Ах, какая жалость! Ведь я забыл папку-то. И карандаш забыл.

Я помедлил немного и сказал, обращая мысленно взоры к своим патронам: Байрону и Бенвенуто Челлини:

– Ну, да это ничего, что с пустыми руками... Я...

– Конечно, ничего, – засмеялась молодая женщина. – Мы это сейчас устроим. Александр! Саша!

Дверь, ведущая в соседнюю комнату, скрипнула... Показалось добродушное лицо молодого блондина; в руке он держал палитру.

– Вот, познакомьтесь: мой муж. Он тоже художник. Саша, твой рассеянный коллега пришел меня писать и забыл дома не только краски и холст, но и карандаш и бумагу. Ох уж эта богема! Предложи ему что-нибудь...

Я испугался:

– Да что вы! Мне неловко... Очень приятно познакомиться... Я уж лучше домой сбегаю. Я тут... в трех шагах. Я... как это называется...

– Да зачем же? Доска есть, карандаши, кнопки, бумага. Впрочем, вы, может быть, маслом хотите?

– Маслом. Конечно, маслом.

– Так пожалуйста! У меня много холстов на подрамниках. По своей цене уступлю. Катя, принеси!

Эта проклятая Катя уже успела раздеться, без всякого стеснения, будто она одна была в комнате. Сложена она была действительно прекрасно, но я почти не смотрел на нее. Шагала она по комнате как ни в чем не бывало. Ни стыда у людей, ни совести.

Тяжесть легла мне на сердце и придавила его.

«Поколотит он меня, этот художественный назойливый болван, – подумал я печально. – Подумаешь, жрецы искусства!»

Катя притащила ящик с красками, холст и еще всякую утварь, в которой я совершенно не мог разобраться.

Муж ее развалился на диване и, глядя в потолок, закурил папироску, а она отошла к окну.

- Поставьте меня, – сказала эта бесстыдница.
- Сами становитесь, – досадливо проворчал я. Она засмеялась.
- Я же не знаю, какая вам нужна поза.
- Ну, станьте так.

Я показал ей такую позу, приняв которую она через минуту должна была замертво свалиться от усталости. Но эта Катя была выкована из стали. Она стала в позу и замерла...

II

– Что вы делаете? – удивленно сказал муж Саша. – Вы не из того конца тюбика выдавливаете краску.

– Вы уверены? – нагло засмеялся я. – Покойный профессор Якоби советовал выдавливать краску именно отсюда. Тут она свежее.

– Да ведь краска будет сохнуть!

– Ничего. Водой после размочим.

– Водой?.. Масляную краску?!

– Я говорю «водой» в широком смысле этого слова. Вообще жидкостью... Вот странная вещь, – перебил я сам себя. – Все краски у вас есть, а телесного цвета нет.

– Да зачем вам телесный цвет? Такого и не бывает.

– Вы так думаете? В... художественных письмах Александра Бенуа прямо указывается, что тело лучше всего писать телесным цветом!

– Позвольте... Да вы писали когда-нибудь масляными красками?

– Сколько раз! Раз десять, если не больше.

– И вы не знаете смешения красок?

– Я-то знаю, но вы, я вижу, не читали многотомного труда члена дрезденской академии искусств барона Фукса «Искусство не смешивать краски».

– Нет, этого я не читал.

– То-то и оно. А что же тут нет кисточки на конце? Одна ручка осталась и шишечка...

– Это муштабель. Неужели вы не знаете, что это такое?

– Я-то знаю, но вы, наверное, не читали «Записок живописца» Шиндлера-Барнай, в которых... Впрочем, не будем отрываться от

работы.

– Подвигается? – спросил Саша.

– Да... понемногу. Тише едешь – дальше будешь, как говорится.

Саша встал и взглянул из-за моего плеча на холст.

– Гм!

– Что? Нравится?

– Это... очень... оригинально. Я бы сказал – даже не похоже.

– Бывают разные толкования, – успокоил я. – Золя сказал: «Жизнь должна преломляться сквозь призму мировоззрения художника».

– Так-то оно так... Но вы замечаете, что у нее грудь – на плече?

– Так на своем же, – резонно возразил я.

– Странный ракурс.

– Вы думаете? Этот? Я его сделаю пожелтее.

– При чем тут «желтее»? Ракурс от цвета не зависит.

– Не скажите. Покойный Куинджи утверждал противное.

– Гм! Может быть, может быть... Вы не находите, что на левой ноге один палец немного... лишний?..

– Где? Ну что вы! Раз, два, три, четыре, пять... шесть... А! Это тень. Это я тень так сделал... Впрочем, можно ее и стереть.

– Конечно, можно. Только вы напрасно все тело пишете индейской желтой.

«Вот осел-то, – подумал я. – Телесной краски, говорит, нету, а потом сам же к цвету придирается».

– Я вижу, – саркастически заметил я, – что вам просто моя работа не нравится.

– Помилуйте, – деликатно возразил Саша. – Я этого не говорю. Чувствуется искание... новых форм. Рисунок, правда, сбит, линия хромает, но... Теперь вообще ведь всюду рисунок упал. – И он с неожиданной откровенностью закончил: – Сказать вам откровенно: сколько я ни наблюдаю – живопись теперь падает. Мою жену часто приходят писать художники. Вот так же, как вы. И что же! У меня осталось несколько их карандашных рисунков, по которым вы смело можете сказать, что живописи в России нет. Мне это больно говорить, но это так! Поглядите-ка сюда!

Он вытащил из угла огромную папку и стал показывать мне лист за листом.

– Извольте видеть. С самого первого дня, как жена поместила объявление о своем позировании – к нам стали являться художники, но что это все за убожество, бездарность и беспомощность в рисунке! О колорите я уже не говорю! Полюбуйтесь! И эти люди – адепты русского искусства, призванные насаждать его, развивать художественный вкус толпы. Один молодец – вы видите – рисует левую руку на поларшина длиннее правой. И как рисует! Ни чувства формы, ни понятия о ракурсе! Так, ей-богу, рисуют гимназисты первого класса! У этого голова сидит не на шее, а на плече, живот спустился на ноги, а ноги – найдите-ка вы, где здесь колено? Вы его днем с огнем не сыщете. И ведь пишут не то что зеленые юноши! Большею частью люди на возрасте или даже старики, убеленные сединами. Как они учились? Каков их художественный багаж? Вы не поверите, как все это тяжело мне. Мы с женой искренно любим искусство, но разве это – искусство?!

Действительно, никогда мне не приходилось видеть большего количества уродов, нарисованных беспомощной рукой пьяного или ребенка: искривленные ноги, вздутые животы, глаза, вылезшие на лоб, и губы, тянущиеся наискось от уха к подбородку.

Бедная Катя!

Я бросил косой взгляд на свой этюд, вздрогнул и сказал с тайным ужасом:

– Ну, я пойду... Докончим это когда-нибудь... после...

Саша ушел в свою комнату. Катя закуталась в халатик, подошла к моему этюду и вдруг... залилась слезами.

– Что с вами, милая?! Что такое?

– Я не понимаю: зачем он меня успокаивает, зачем деликатничает!

– Кто?

– Саша. Я сама вижу, я все время, на всех рисунках вижу, какая я отвратительная, безобразная. А он говорит: «Нет, нет – ты красива, а только тебя не умеют рисовать». Ну, предположим, один не умеет, другой, третий, но почему же – все?!!

Замечательный человек

I

Однажды я зашел в маленькую, полутемную типографию с целью заказать себе визитные карточки. В конторе типографии находилось двое людей: конторщик и полный, рыжий господин с серьезным, озабоченным лицом.

– Меньше ста штук нельзя, – монотонно говорил конторщик. – Меньше ста штук нельзя. Нельзя меньше ста штук.

– Разве не все равно: сто или шесть штук? Куда мне сто? Мне и шести штук много.

– Шесть штук будут стоить то же, что и сто. Что же за расчет вам? Что же за расчет?.. Вам-то – какой расчет? – спрашивал печально и лениво конторщик.

– Ну ладно! Печатайте сто, только так: пятьдесят штук одного сорта и пятьдесят штук – другого.

– На разной бумаге?

– Нет – я говорю, разного сорта. На одних напечатайте так: «Светлейший князь Иван Иванович Голенищев-Кутузов», а на других просто: «граф Петр Петрович Шувалов». Ну там коронки разные поставьте, вензеля – как полагается.

Я с любопытством смотрел на этого представителя знаменитейшей дворянской русской фамилии и только немного недоумевал в душе: какая же из двух фамилий принадлежала озабоченному господину?

– Будьте добры напечатать мне сотню визитных карточек, – сказал я, приближаясь к конторщику, – моя фамилия – Александр Семенович Пустынский.

Незнакомый господин издал легкий звук, похожий на радостное икание.

– Пустынский?! Вы и есть знаменитый писатель Пустынский?

– Ну уж и знаменитый!.. – сконфузился я. – Так просто... пишу себе.

– Нет, нет! – захлопотал озабоченный господин. – Не оправдывайтесь! Вы – знаменитый писатель. Очень рад познакомиться!

– Вы меня смущаете, – улыбнулся я, пожимая его руку. – А как ваша фамилия: князь Голенищев-Кутузов или граф Шувалов?

– Перетыкин Иван моя фамилия – вот как! Не слышали? У меня еще деда повесили за участие в великой французской революции.

– Вы – Перетыкин?! А зачем же вы такие карточки заказывали? Мне показалось, что он немного смутился.

– А?.. Это так... Маленькое пари... Шутка... Можно вас проводить? Нам, кажется, по пути?..

Мы вышли из типографии и зашагали по безлюдной улице.

– Пойдем налево, – сказал Перетыкин. – Там народу больше.

Мы свернули на шумный проспект. Навстречу нам шли два господина. Мой новый знакомый схватил меня под руку и почти прокричал на ухо:

– От Леонида Андреева писем давно не получали?

– Я? Почему бы мне получить от него письма? Мы даже не знакомы.

Мы молча зашагали дальше. Навстречу нам показались две дамы.

– Отчего не видел вас во вторник у Лины Кавальери? Она ждала, ждала вас!..

Проходившие дамы, заинтересованные, замедлили шаги и даже повернули в нашу сторону головы. Одна что-то шепнула другой.

– Зачем вы это спрашиваете? – удивился я. – Никогда моя нога не была в ее доме. Может быть, она ждала когонибудь другого?..

– Может быть, может быть, – устало, равнодушно пробормотал Перетыкин, но, увидев впереди какого-то знакомого, оживился и громким голосом дружелюбно закричал: – Заходите ко мне когда угодно, Пустынский! Для знаменитого писателя Пустынского у его приятеля Перетыкина всегда найдется место и прибор за столом!

Я стал понимать вздорную, суетную натуру Перетыкина. Перетыкин начинал действовать мне на нервы.

Я промолчал, но он не унимался. Когда мимо нас проходил какой-то генерал с седыми подусниками и красными отворотами пальто, мой новый знакомый приветственно махнул ему рукой и крикнул:

– Здравствуй, Володя! Как поживаешь? Совсем забыл меня, лукавый царедворец!..

Генерал изумленно посмотрел на нас и медленно скрылся за углом.

– Знакомый! – объяснил Перетыкин. – Зайдем ко мне. У меня есть к вам большая просьба, которую я могу сказать только дома.

– Хорошо. Пожалуй, зайдем. Только – ненадолго, – согласился я с большой неохотой.

II

Он жил в двух комнатах, обставленных нелепо и странно. Одна из них вся была увешана какими-то картинами и фотографическими портретами с автографами.

– Вот мой музей, – сказал Перетыкин, подмигнув на стену. – Все лучшие люди страны дарили меня своим вниманием!..

Действительно, большинство портретов, с наиболее лестными автографами, принадлежало известным, популярным именам.

На портрете Чехова было в углу приписано:

«Человеку, который для меня дороже всех на свете – Ивану Перетыкину, на добрую обо мне, многим ему обязанному, память».

Лина Кавальери написала Перетыкину более легкомысленно:

«Моему amico Джиованни на память о том вакхическом вечере и ночи, о которых буду помнить всю жизнь. Bravo, Ваня!»

Немного удивили меня теплые, душевные автографы на портретах Гоголя и Белинского и привела в решительное недоумение авторская надпись на портрете, изображавшем автора ее в гробу, со сложенными на груди руками.

– Садитесь, – сказал Перетыкин.

Постарался он посадить меня так, чтобы мне в глаза бросилось блюдо с разнообразными визитными карточками, на которых замелькали знакомые имена: Ф. И. Шаляпин, Лев Толстой, Леонид Андреев...

Даже, откуда-то снизу, выпянула скромная карточка с таким текстом:

«Густав Флобер – французский литератор».

Я улыбнулся про себя, вспомнив о «графе Шувалове» и «Светлейшем князе Голенищеве-Кутузове», и спросил:

– Какое же у вас ко мне есть дело?

Он взял с этажерки одну из моих книг и подsunул ее мне:

– Напишите что-нибудь. Такое, знаете: потрогательнее.

– Да зачем вам? Ведь мы с вами еле знакомы – что же я могу написать? Ну, написать вам: «На добрую память»?

Он задумчиво поджал губы.

– Суховато... Вы такое что-нибудь... потеплее.

Я пожал плечами, взял перо и написал на книге:

«Лучшему моему другу и вдохновителю, одному из первых людей, с гениальным проникновением открывших меня, – милому Ване Перетыкину. Пусть он вечно, вечно помнит своего Сашу!»

Он прочел надпись и удовлетворенно потрепал меня по плечу. Потом сел около меня. Я молчал, наблюдая за его ухищрениями, которые видел насквозь. Ухищрения эти состояли в том, что Перетыкин вытягивал левую руку с бриллиантовым кольцом на пальце, обмахивался ею, будто бы изнемогая от жары, клал ее на мое колено, но все это было напрасно.

Я упорно не замечал кольца.

Тогда он сказал, как будто бы думая о чем-то постороннем:

– Плохие времена мы переживаем... Вера в народе стала падать...

– Да, ужасное безобразие!

– Народ не ценит своих святынь... Церкви подвергаются разграблениям... Драгоценные иконы ломаются и расхищаются...

– Да, ужасное безобразие!

– Недавно, например, обокрали икону... Унесли несколько бриллиантов громадной стоимости и величины. Я читал описание: размер бриллиантов приблизительно такой, как у меня на пальце...

– Школы нужны, – перебил я его на совершенно неподходящем для него месте.

Он вздохнул и, подумав немного, кивнул головой.

– Это верно. Нужны школы, а говорят, что денег нет. Как нет денег? Вводите налоги. Можно обложить все, главным образом предметы роскоши. Например, золотые и бриллиантовые вещи. Например, вот это кольцо... Вы знаете, сколько я за него заплачу...

– Нет, что там налоги! Главное – режим, – опять перебил я его.

Я насквозь видел все его штуки: он лихорадочно, болезненно стремился похвастаться своим бриллиантовым кольцом, а я все время отбрасывал его на другой путь. Но он был неутомим.

– Вы говорите – режим? Режим, конечно, сыграл свою роль. Одни эти еврейские погромы, когда разорялись самые богатые еврейские фирмы и торговли. Ха-ха! Вы знаете, после погромов было не в редкость встретить на руке босяка вот такое кольцо, а ведь это кольцо, батенька, стоит...

– Босяки здесь ни при чем. Они сами бы...

Он схватил меня за руки и скороговоркой закончил:

– ...Стоит две с половиной тысячи! Да-с! Небольшая вещица, а заплочено две с половиной тысячи!! Хе-ха!..

Пришлось подробно рассмотреть кольцо и убедиться в его стоимости.

Перетыкин вынул из кармана золотые часы и стал для чего-то заводить их.

Он упорно хотел, чтобы я заинтересовался этими часами, а я упорно не хотел интересоваться ими. Встал и сказал:

– Пойду. Кстати, каким это образом у вас на фотографическом портрете Пушкина его автограф?..

– Этот? Это я получил от него давно. Когда еще был мальчиком...

– Изумительно! – удивился я. – Да ведь Пушкин уже умер лет семьдесят тому назад.

Призадумавшись, он ответил:

– Да, действительно что-то странное. Впрочем, это, кажется, его сын подарил. Не помню. Давно было. Ну, ничего!

Я еще хотел спросить: как это покойник в гробу, со сложенными руками, мог дарить свои автографы на портретах, изображающих его в этой скорбной, печальной позе, – но не спросил и ушел.

Перетыкин проводил меня до ворот и, увидев проходившую мимо даму с господином, крикнул мне вдогонку:

– Когда будете проезжать Бельгию – привет и поцелуй от меня Метерлинку! До свидания, Пустынский! Напишите что-нибудь замечательное!!

Прохожие оглянулись.

Недавно я встретил на улице погребальную процессию. Сзади катафалка шли человек двадцать родственников, а за ними, немного поодаль, брел Перетыкин. Он часто подносил к красным глазам платок, заливался обильными слезами, чем растрогал меня до глубины души. Очевидно, у этого человека, кроме смешных, нелепых слабостей, было большое сердце.

Я подошел к нему и деликатно взял его под руку.

– Успокойтесь! Вы кого-нибудь потеряли? Это ужасно, но – что ж делать!

Он печально покачал головой.

– Не утешайте меня! Я все равно не успокоюсь!! Эта потеря незаменима.

– Кто же это умер?

– Кто? Мой лучший друг! Я все ночи напролет просиживал у его изголовья, но – увы! – ни дружба, ни медицина ничего не могли поделать... Он угас на моих руках. Последние его слова были: «Ничего! Все-таки я кое-что сделал для родной литературы!»

– А! Он был литератор? Как же его звали? Он укоризненно посмотрел на меня:

– Боже мой! И вы не знаете?! Вы не знаете, кого мы потеряли?! Кто умер? Достоевский умер! Наша гордость и близкая мне душа.

– Что за вздор! Достоевский умер лет двадцать тому назад! Я это знаю наверное!..

Он смущенно посмотрел на меня.

– Не... может... быть... Эй, как вас? Родственник! Как фамилия покойника?

– Достоевский! – ответил плачущий родственник.

– Ага! Вот видите!

– А кем он был при жизни? – спросил я.

– Он? Письмоводителем у мирового судьи! Совсем молодым человеком и помер.

Перетыкин вынул из кармана платок, тщательно утер глаза и равнодушно сказал мне:

– Пойдем куда-нибудь в ресторанчик. Дотащутся и без нас!..

Мимо нас прошли два офицера. Перетыкин проревел им вслед:
– Пустынский, плутишка! Не забудьте же воспользоваться той темой для рассказа, что я вам дал.

Я рассмеялся. Дал ему слово воспользоваться, и сделать это теперь же, не откладывая дела в долгий ящик.

Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.

Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестящие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.

– Драсти.

– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.

– А вы откуда будете?

– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.

– Верстов восемь будет отселева...

Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:

– Ничего вам не потребуется?

– А что?

– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.

– Да ты кто такой?

– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.

– Эту землю арендуешь?

– Так точно.

– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?

– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло – ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

– Да что ж ты тут... грибы собираешь, ягоды?

– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.

– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

– А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места – один бурелом да сухостой.

– Так с чего ж ты живешь?

– Дачниками кормлюсь.

– Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят! Баб обожают?

– Что?

– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

– Ну?

– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

– Кого?!!

– А это мы вам сейчас скажем – кого... Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость. Долго что-то соображал.

– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым – дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам, кроме губернанки, профиту никакого, потому сама худа как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоящие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все – да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы

воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

– Черт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.

– Действительно, – согласился мужичонка – Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши Окрочделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

– У кого?

– А у дачников.

– Вот у тех, что за рекой?

– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окрочделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?! Мужичонка почесал затылок.

– Экой ты непонятный! Как да что... Посадишь барина в яму – ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотри, конечно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина... Мало ли...

– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?

– Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

– Вот каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?

– Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены... Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить, пляжу: что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе... Эге-ге, вижу. Тут тебе и блонетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я

во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

– Специально. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы... – живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как будто вскользь спросил:

– А хорошо видно?

– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, любопытствуете?

– Ну, ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?

– Никак это не возможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин... попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)... всего и разговору на рупь шестьдесят!

– Это еще что за расчет?!

– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дамы замечательные, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было...

– А ну-ка... ты... тово...

– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйста, здесь две ступенечки вниз... Головку тут наклоните, чтоб оттелева не заметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться... Пивка не прикажете ли молоденького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то... Извольте взглянуть.

.....

Смеркалось...

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:

– Сколько с меня?

– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.

– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.

– Помилуйте-с... Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас всегда идет, да Дрягина – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой, да...

– Ну ладно, ладно... Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!

– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!.. И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:

– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окрочделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!

Спиртная посуда

I

крушение надежд

– Знаете, Илья Ильич, гляжу я на вас – и удивляюсь. Как вы это, доживши до сорока лет...

– Что вы! Мне пятьдесят восемь.

– Пятьдесят восемь?! Это неслыханно! Никогда бы я не мог поверить – такой молоденький!.. Так вот я и говорю: как это вы, доживши до... сорока восьми лет, сумели сохранить такую красоту души, такую юность порывов и широту взглядов? В вас есть что-то такое рыцарское, такое благородное и мощное...

– Вы меня смущаете, право...

– О, какое это красивое смущение – признак скромной девичьей души! И потом, вы знаете, ваше умение говорить образными, надолго западающими в сердце фразами – как оно редко в наше время!

– Ну что вы, право!

– Ну вот, например, эта краткая, но отчеканенная, отшлифованная, как бриллиант, фразочка: «Ну, что вы, право». Сколько здесь рыцарской застенчивости, игривого глубокомыслия, детской скромности и умаления себя! А ведь фразочка – короче воробьиного носа. «В немногом многое», как говорил еще Герострат. Неудивительно, что беседа с вами освежает. Потом, что мне нравится – так это ваши детки, умные, скромные и такие способные-преспособные. Например, старшенький – Володя. Помилуйте! Ведь это образец! Кстати, что это его не видно...

– В тюрьме сидит, за растрату.

– Ага... Так, так... Ну, дай Бог, как говорится. Младшенький тоже достоин всякого удивления. Вся гимназия, как говорят, не могла на него надыхаться...

– Теперь уже она может надыхаться. Вчера его только выгнали из гимназии, за дебош.

– Ага... Ну, так о чем я бишь говорил? Да! Какая черта вашего характера кажется мне преобладающей? А такая: что вы готовы последним поделиться с ближним. Например: на прошлой неделе вы как-то вскользь сказали мне, что у вас есть бутылка водки. И что же! Приди я к вам сейчас и скажи вам: «Илья Ильич! У меня завтра обручение дочери и именины жены – уступите мне свою бутылочку» – да ведь вы и слова не возразите. Молча пойдете в свое заветное местечко...

– Нет, простите, водки я вам дать не могу.

– Это еще почему?

– Не такой это теперь продукт. Отец родной если будет умирать – и тому не дам. Так что уж вы того... Извините... Жену могу отдать, детей, а с бутылочкой этой самой не расстанусь.

– Очень мне нужен этот хлам – ваша жена и дети! А ято, дурак, перед ним, перед сквалыгой, скалдырником, разливаюсь. Только время даром потерял. И что это за преподлый народишко пошел!! Что? Руку на прощанье? Ногу не хочешь ли? Отойди, пока я тебя не треснул!..

II

великосветский роман

– Баронесса! Вы знаете, что мое сердце...

– Довольно, князь! Ни слова об этом. Я люблю своего мужа и останусь ему верна.

– Ваш муж вам изменяет.

– Все равно! А я его люблю.

– Но если вы откажетесь быть моею, я застрелюсь!

– Стреляйтесь.

– А перед этим убью вас!

– От смерти не уйдешь.

– Имейте в виду, что вашим детям грозит опасность.

– Именно?

– Если вы не поедете сейчас ко мне, я принесу когданибудь вашим детям отравленных конфет – и малютки, покушав их, протянут ноги.

– О, как этот изверг меня мучает!.. Но.... будь что будет. Лучше лишиться горячо любимых детей, чем преступить супружеский долг.

– Ты поедешь ко мне, гадина!

– Никогда!

– А если я тебе скажу, что у меня в роскошной шифоньерке с инкрустациями стоит полбутылки водки с белой головкой?!!

– Князь! Замолчите! Я не имею права вас слушать...

– Настоящая, казенная водка! Подумайте: мы нальем ее в стаканчики толстого зеленого стекла и... С куском огурца на черном хлебе...

– Князь, поддержите меня, я слабею... О, я несчастная, горе мне! Едем!!

Через две недели весь большой свет был изумлен и взбудоражен слухом о связи баронессы с распутным князем...

.....
О проклятое зелье!

III

за столом богатого хлебосола в – будущем

– Рюмочку политуры!

– Что вы, я уже три выпил.

– Ну, еще одну. У меня ведь Козихинская, высший сорт... Некоторые, впрочем, предпочитают Синюхина и К°.

– К рыбе хорошо подавать темный столярный лак Кноля.

– Простите, не согласен. Рыба любит что-нибудь легонькое.

– Вы говорите о денатурате? Позвольте, я вам налью стаканчик.

– Не откажусь. А это что у вас в пузатой бутылочке?

– Младенцовка. Это я купил у одного доктора, который держал в банках разных младенцев – двухголовых и прочего фасона. Вот это вот – двухголовка, это – близнецовка. Это – сердценьянцевка. Хотите?

– Нет, я специальных не уважаю. Если позволите, простого выпью.

– Вам какого? Цветочного, тройного? Я, признаться, своими одеколонами славлюсь.

Гость задумчиво:

– А ведь было время, когда одеколоном вытирали тело и душили платки.

– Дикари! Мало ли что раньше было... Вон говорят, что раньше политуру и лак не пили, а каким-то образом натирали ими деревянные вещи...

– Господи помилуй! Для чего ж это?

– Для блеску. Чтобы блестели вещи.

– Черт знает, что такое. И при этом, вероятно, носили в ноздре рыбью кость?

– Хуже! Вы знаете, что они делали с вежеталем, который мы пьем с кофе?

– Ну, ну?

– Им мазали голову.

– Тьфу!

Тайна зеленого сундука (Рождественский рассказ)

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа Постулатова, сидя в будуаре, говорила гувернантке:

– Никогда я не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте: напитков никаких нет, значит, останется больше денег и мы не залезем в долги, как в прошлые праздники.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка Постулатова, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной:

– Хорошее Рождество будет... Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Слава те, Господи.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети Постулатовых, сидя в детской, тихо шептались друг с другом:

– Нынче папа никакого вина и водок не может купить – значит, эти деньги, которые останутся, пойдут нам на елку. Хорошо, если бы елку закатали побольше да игрушек бы закатали побольше.

Ветер выл, как тысяча бешеных собак, и метель кружилась в невероятной, сногшибательной пляске, когда глава дома Постулатов сидел одиноко в темном кабинете, в углу, и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую, мрачную думу.

Страшен был вид Постулатова.

«Нету нынче на праздниках никаких напитков – хорошо же! – думал он. – Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а ребятишек всех перепорю. Раз уж скверно, то пусть всем будет скверно».

Ветер за окном выл, как тысяча бешеных собак, да и метель держала себя не лучше.

* * *

Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила:

– Что ты тут в темноте сидишь, Алексашенька?

– Черташенька я тебе, а не Алексашенька! – горько ответил муж. – Возьму вот и повешусь на дверях!

– Господь с тобою! Кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие – будут без неприятностей... Я с тобой хотела как раз поговорить о подарках кухарке и гувернантке.

– Подарок? – заскрежетал зубами Постулатов. – Кухарке? Купить ей в подарок железную кочергу да и бить ее этой кочергой каждый день по морде.

– Алексаша! Такие выражения... Надо же выбирать...

– Не из чего, матушка, не из чего!

– Что же тебе кухарка плохого сделала?

– Да, знаю я... Поймает крысу да и врубит ее в котлеты. А в суп, наверное, плюет.

– Опомнись! Для чего ей это делать?

– А я почему знаю? Развращенное воображение. В чай, я уверен, мышьяк подсыпает.

– Зачем? Что ей за расчет? Ведь мышьяк денег стоит.

– Из подлости. А гувернантка – я знаю, – она губит моих детей. Она их потихоньку учит курить, а старшенького подговорила покуситься на мою жизнь.

– Для чего?! Что она, после тебя наследство получит, что ли?

– Садизм, матушка. Просто хочет насладиться моими предсмертными мучениями.

– Бог знает, что ты такое говоришь... – заплакала жена. – Ну, раз не хочешь сделать им подарки, что ж делать... Я из своих им куплю. Из тех, что ты мне на расходы дашь.

– Ничего я тебе на расходы не дам. Не заслужила, матушка! Как жена ты ниже всякой критики!

– Алексаша!!

– Чего там «Алексаша»! Ты лучше расскажи, почему все наши дети на меня не похожи? Я все понимаю! Не будет им за это елки!!

– Какой позор! – воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты.

«А ловко я ее допек! – подумал немного прояснившийся Постулатов. – Теперь еще только выругать кухарку, перепороть детишек – и все будет как следует». И заворочались во тьме тяжелые

ленивые мысли: «Жаль, что у меня детишки такие послушные – ни к чему не придерешься. Хорошо, если бы кто-нибудь разбил какую-нибудь вещь, или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого они только удались, паршивцы? У других как у людей – ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет, – а у меня... выродки какие-то. Вон у Кретюхиных сынишка в мать за обедом вилку бросил... Вот это – ребенок! Это темперамент! Да я бы из такого ребенка такой лучины нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним, подлецом, сделал бы. А от моих – ни шерсти, ни молока... Сидят у себя они в детской тихонько, смирененько, не попрыгают в гостиной, не посмеются». Сердце его сжалось.

«А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит, он, паршивец, делает нечто противное своему возрасту. А за это – драть! Неукоснительно – драть. Я им покажу, как серьезничать».

Он встал, сверкнул зелеными глазами и крадучись отправился в детскую.

А за окном ветер и метель вели себя ниже всякой критики...

* * *

– Вы чего тут сидите? – нахмурившись и обведя детей жестким взглядом, проворчал Постулатов.

– Мы ничего, папочка. Мы сидим тихо.

– Сидите тихо?!

Леденящий душу смех Постулатова прозвучал в детской, сливаясь с воем бури за окном.

– А разве дети должны сидеть тихо? Детское это дело? Сейчас же чтобы резвиться, прыгать и смеяться.

Ну?!!

Детки заплакали.

– Простите, папочка... Мы больше никогда не будем...

– Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие! Ну, ты! Или смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку!..

Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца...

– Ах, так? Такое отношение? Не хотите веселиться?! Ну, так вы сейчас отведаете ремня!! Эй, кто там?! Где мой кожаный ремень!! Агафья! Лизавета! Подать ремень!!

Столпившись в дверях, все домочадцы с ужасом взирали на разъяренного хозяина.

– Куда девался ремень? Агафья!

– Не знаю, барин... я и то найти его не могу!.. Уж не в зеленом ли дедушкином сундуке?..

– Подальше, дьяволы, постарались засунуть. Прочь!! Я сам его найду!

И ринулся Постулатов в полутемный чулан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук.

В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул, сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь: сплющенная весенняя шляпка, два разрозненных тома «Нивы», испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и изъеденная молью плюшевая кошка.

На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копятся: шнурок от пенсне, полдюжина разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка и позолоченная облезшая часовая цепочка.

Зеленый сундук Постулатовых отличался той же хаотичностью и разнообразием содержимого.

Лихорадочно рылся разъяренный Постулатов, отыскивая популярный в детской желтый кожаный ремень от саквояжа, рылся... как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное.

«Дрянь какая-нибудь, пустая посуда», – подумал он и вытянул на свет Божий одну бутылку, другую, третью...

Оглядел их – и сердце его бешено заколотилось: в первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третьей тихо, мелодично булькала при малейшем сотрясении настоящая смирновская водка.

– Чудеса... – проворчал он дрогнувшим голосом и закричал: – Лизочка! Лиза! Иди сюда, голубушка!

Вошла заплаканная жена.

– Лизочек, каким эти образом в зеленом сундуке очутились коньяк и водка? Откуда это, милая?

Жена наморщила лоб:

– Действительно, как они попали в сундук? Ах, да! Это я весной засунула их сюда, перед Пасхой. Ты тогда купил больше чем нужно. А я сунула сюда, подальше от тебя, да и забыла.

Постулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу:

– А чьи это плазки?

– Лизины.

– А зачем они заплаканы?

– Потому что один дурачок ее обидел.

– А если дурачок их поцелует – они будут веселее?

– Барин, – сказала, входя, Агафья. – Вот и ремень. Он за шкахвом был.

– Нацепи его себе на нос, – засмеялся Постулатов. – Послушай, Агафьюшка. Ты, кажется, гусей хорошо жарить? Так вот изжарь к Рождеству. Потом, я давно хотел спросить: что ты такое кладешь в пирожки с ливером, что они так вкусно пахнут? Молодец ты у меня, Агафьище, замечательная баба! Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак... Я его носить не буду.

Пошел в детскую легким, танцующим шагом.

– Марья Николаевна! Я доволен вашими занятиями с детьми и хотел бы чем-нибудь... Впрочем, это уже дело жены, хе-хе! А вы что, архаровцы, приумолкли? Чего ждете?

– Сечья ждем, – покорно вздохнул самый маленький и заплакал.

– Ишь чего захотели! А чего вы больше хотели бы: сечья или елку?

С решительностью, чуждой всяких колебаний и сомнений, все сразу определили свой вкус:

– Елку!

– Да будет так! – мелодично засмеялся отец, целуя младшего. – Кося, заведи граммофон!..

Тысячи собак за окном улепись спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким, тихим светом луны. Завтра – веселый Сочельник.

Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...

Отец Марьи Михайловны

... А когда разговор перешел на другие темы, Гриняев сказал:

– Доброта и добро – не одно и то же.

– Почему? – возразил Капелюхин. – Доброта относится к добру так же, как телячья котлета к целому теленку. Другими словами: доброта – это маленький отросток добра.

– Ничего подобного, – в свою очередь возразила и Марья Михайловна. – Добро прекрасно, возвышенно, абсолютно и бесспорно, а доброта может быть вздорной, несправедливой, мелкой и односторонней.

– Не согласен! – замотал головой Капелюхин. – Добрый человек всегда и творит добро!..

– Хорошо, – перебил Гриняев. – В таком случае я приведу пример, из которого вы едва ли выпутаетесь... Скажем, путешествуете вы по какой-нибудь там пустыне Сахаре со своими двумя детьми и со слугой... И вдруг оба ваших мальчика заболевают какой-нибудь туземной лихорадкой... У вашего слуги есть вполне достаточный для спасения жизни детей запас хины, но слуга вдруг уперся и ни за что не хочет отдать этого лекарства. Выхода у вас, конечно, только два: или убить слугу и этим спасти двух детей, или махнуть на слугу рукой – и тогда дети ваши в мучениях умрут. Что бы вы сделали?..

– Я бы убила этого подлеца слугу и взяла бы его лекарство, – мужественно сказала Марья Михайловна.

– А вы, Капелюхин? – спросил Гриняев. – Ведь пример-то сооружен для вас.

– Что бы сделал я? Ну, я бы пообещал слуге все свое состояние, пошел бы сам к нему слугой, стоял бы перед ним на коленях...

– Пример предполагает полную непреклонность слуги...

– Ну, тогда бы я... Да уж не знаю, что... Тогда бы я все предоставил воле Божьей. Значит, уж деткам моим так суждено, чтобы умереть...

– Но ведь, если бы вы убили слугу и отняли у него лекарство – дети ваши выздоровели бы!.. При чем же тут «суждено»?

– Ну, я бы убежал в пустыню подальше и повесился бы там на первом дереве...

– А детей бросили бы больными, беспомощными, умирающими?

– Чего вы, собственно, от меня хотите? – нахмурившись, огрызнулся Капелюхин.

– Я просто хочу доказать вам, что доброта и добро – вещи совершенно разные. Все то, что вы предполагали сделать в моем примере с вашими детьми, – это типичная доброта!

– Что же в таком случае добро?

– А вот... Человек, понимающий, что такое добро, рассуждал бы так: на одной чашке весов лежат две жизни, на другой одна. Значит – колебаний никаких. И при этом – одна жизнь, жизнь скверная, злая, эгоистичная, следовательно, для Божьего мира отрицательная. Она не нужна. Ценой ее нужно спасти две жизни, которые лучше, моложе и, следовательно, имеют большее право на существование...

– И вы бы... – с легким трепетом не договорил Капелюхин.

– И я бы... Конечно! Преспокойно подкрался бы сзади к слуге, ткнул бы ему нож между лопаток, взял хину, вылечил детей, и на другой день – бодрые, освеженные сном – мы бы двинулись дальше.

– Ну, знаете ли...

– Почему вы возмущаетесь? Потому что вы обыкновенный добрый человек... А я человек недобрый – но координирующий все свои поступки с требованиями добра.

– И ничего бы у вас не дрогнуло в то время, как вы тыкали бы вашему слуге ножом в спину?!

– Ну, как сказать... Было бы неприятно, чувствовалась бы некоторая неловкость; но это – единственно от непривычки.

– Хорошее добро!.. Тьфу!

– Нечего вам плевать, добрый вы человек! Все дело в том, что я умею рассуждать, а вы – весь во власти сердца и нервов...

* * *

Марья Михайловна все это время сидела, свернувшись калачиком на диване, и молчала.

А когда все замолчали, вдруг заговорила:

- Теперь Рождество. И вспоминается мне золотое детство, и вспоминается мне то самое веселое и милое в моем детстве Рождество – когда у папы отнялись ноги и язык.
- У кого? – удивленно спросили все.
- У папы.
- У вашего?!
- Не у римского же. Конечно, у моего.
- Ну, это гадость!
- Что?
- Говорить так об отце. Если бы даже он был тиран, зверь, и то нельзя так говорить о родном отце!..
- Он не был ни тираном, ни зверем.
- В таком случае вы были скверной девчонкой?
- А вот я вам расскажу о своем отце, тогда и судите.

* * *

В будние дни отец все время был на службе и домой являлся только вечером, усталый, думающий лишь о постели.

Но перед праздниками, дня за два до Рождества, занятия у них прекращались, и отец являлся домой часов в двенадцать дня – до 28 декабря.

Надевал халат и принимался бродить по всем комнатам.

– Мариша! – вдруг раздавался его тонкий не по росту и сложению голос. – Почему это тут в углу валяется бумажка?!

– Не знаю, барин...

– Ах так-с. Вы не знаете? Интересно, кто же должен знать? На чьей это обязанности лежит: градского головы, брандмейстера или мещанского старосты? Значит, я должен убрать эту бумажку, да? Я у вас служу, да? Вы платите мне жалованье?

– Поехал, – слышался из другой комнаты голос старшей сестры.

До чуткого слуха отца долетало это слово.

– Ах, по-вашему, я «поехал», – бросался он в ту комнату, где сестра переписывала ноты. – Так-с. Это вы говорите отцу вашему или водовозу Никите? Тебя кто кормит, кто поит, кто обувает? Принц монакский, градской голова или брандмейстер? Ты что думаешь, что

если учишься музыке, так выше всех? Отца можешь с грязью смешивать?

Из дверей выплядывала мать.

– Ну что ты пристал к девушке? Ей нужно к концерту готовиться, а ты жилы из нее выматываешь.

– Так-с. Мерси. Удостоился от супруги приветствия. Хм! Концерт... Что это еще за такие концерты-манцерты – кому это нужно? Выйдет такая вот орясина и начнет плотку драть – и чего, и что, спрашивается? Дома лучше нужно сидеть, чем хвосты трепать...

Он плотно усаживался на стул, показывая всем своим видом, что осенний дождик зарядил надолго, и продолжал:

– Воображаю, что это там за концерты такие хромоногие. Придут полтора дурака, скучно, холодно... И чего, и что, спрашивается?... Сидела бы ты дома и не рыпалась!

– Папа, – рыдала сестра. – Что тебе от меня надо?

– Это еще что? Слезы? Нечего сказать – устроили праздничек! В кои веки собрался отдохнуть – на тебе! Могу уж поблагодарить...

Через комнату пробежал, стараясь проскользнуть бочком, братишка Костя.

– Ты куда? Куда? Почему в комнате в шапке? Это конюшня тебе? Так ты бы шел к лошадям, а тут люди... Куда ты идешь?

– К товарищу, – робко лепетал Костя, стараясь прошмыгнуть в дверь.

– Нет, постой!.. Что это еще за товарищи? Откуда? Знаю я этих товарищей: испортят костюм, запачкают всего, учебники порвут... А тебе учебники кто покупает – товарищи? Или, может быть, здешний градской голова, или монакский король? И чего, и что мальчишка по улицам шатается? Сиди дома и не рыпайся...

Плачут уже двое: старшая сестра и Костя.

– Так-с. Благодарности достойно! Отцу бесплатный концерт устроили. Отдохнул на праздничках!

Шел потом на кухню, запахиваясь в оранжевый халат и поджав нижнюю небритую губу.

– Окорок запекаете? А ну, покажи. Это вы так запекли? Хорошее дело... Ну, что же, будем на праздниках сырой окорок есть. Ничего... желудочки-то луженые – вытерпят.

– Где же он сырой? – нетерпеливо говорила мать. – С одной стороны совсем пригорел.

– Пригорел? Так-с. Впрочем, нам наплевать... конечно... Ведь платил-то за окорок не я, а монакский посланник.

Теперь плакали уже четверо: к первым двум присоединились мать и кухарка...

* * *

На Рождество зажигалась елка.

– Вот вам елка, – говорит отец, поджимая губы. – Помните, что она мне не даром досталась, и поэтому вы обязаны веселиться... Котька, не смей подходить к елке, серебряную цепь порвешь! А бусы! Кто бусы рассыпал?! Что-о? Сами рассыпались? То есть как это сами? Живые они, что ли? Или их рассыпал брендмейстер? Кто без меня подходил к елке, признавайтесь! Кто отломал хвостик этой серебряной рыбке? Вы думаете, эта рыбка ни копейки не стоит? Монакский посланник мне ее подарил? Так-то вам, паршивцам, устраивать елки? И я тоже – дурак: «деточек порадовать, елочку устроить»! Осину нужно этим каторжникам, а не елку!.. Хм!.. Устроил! И чего, и что, спрашивается – бегал, хлопотал, деньги тратил... Сидел бы дома и не рыпался... Маруська – плакать? На елке плакать? Елка, значит, для того устраивается, чтобы на ней плакать? Хорошо-с... Так и запишем. И Котька ревет? Ладно же: вы мне устроили праздничек – я вам... В цирк вы нынче не пойдете!

– Да ведь билеты уже взяты! – говорила мать, хмуря нервное, хронически расстроенное лицо.

– Билеты можно продать. А то тоже... хм! (Отец усаживался довольно плотно на один из стульев.) Выдумали разные цирки-мырки – кому это нужно? Какие-то дураки на лошадях скачут, другие смотрят. И чего, и что, спрашивается? Сидите-ка дома и не рыпайтесь!

* * *

Мне было девять лет, когда однажды – это было перед Рождеством – отец кричал-кричал на Маришу да вдруг как-ак хлопнется на диван! Подскочили к нему, перенесли на кровать, – а у него ноги отнялись и язык... Пришел доктор, успокоил мать, что все пройдет, а мать вышла к нам, говорит:

– Ну, дети, отца не беспокойте, он нездоров, а я вам елку сама нынчу устрою – увидите, как будет весело.

И действительно, никогда так весело и мило не было.

Правда, отец пытался звать нас поочередно к себе и знаками показывать, что ему и то не нравится, и это не нравится. Но знаками – ничего не выходило. Пробовал он и записочки нам писать вроде: «Котьку на горы не пускать. Что это за горы такие еще... Пусть зря не рыпается».

Но в записках уже не было того тягостного впечатления, того яда, какой получался в интонации слов. Написанные слова побледнели, потеряли краски, и мы относились к ним совершенно равнодушно... А в ядовитое мнение отца, что «порванный о гвоздь башлык, я, вероятно, получила от градского головы» – я просто завернула карамельки и пряник для дворницкого мальчишки. Да! Чудесное было это Рождество.

* * *

– Все-таки жестоко и грустно все это, – вздохнул добряк Капелюхин. – Мог же бы кто-нибудь из вас пойти и посидеть около кровати отца. Вы-то... сидели или нет?

– Нет, – простодушно ответила Марья Михайловна. – Он бы извел меня. Да вы знаете, что он выдумал? Чтобы мы, дети, поочередно чистили ему ваксой башмаки... Во-первых, у нас была прислуга для этого, а во-вторых, он все равно лежал раздетый и башмаки ему были не нужны.

– И вы чистили?

– Чистила. И однажды, помню, сидела одна на кухне, чистила-чистила тяжелый, неуклюжий отцовский башмак да вдруг взяла его и поцеловала!

Она грустно улыбнулась, опустила голову и с забытой на губах улыбкой задумалась – вероятно, об отце.

И это было так не в тоне рассказа, так неожиданно, что и все растерянно замолчали.

Надолго.

Родители первого сорта

Лениво просматривая старый номер газеты, в которую было завернуто собрание сочинений Пшебышевского, я прочел вслух заметку из хроники происшествий:

– «В выгребной яме дома № 7 по Московскому переулку найден труп младенца с отрезанной головой. Дознание выяснило, что преступление совершено матерью младенца крестьянкой Мценского уезда Авдотьей Межевых, желавшей избавиться от лишней обузы»...

Земский врач Кныш, сидевший у меня, прослушал заметку и сказал:

– Держу пари, что еврейка никогда не сделала бы такой штуки!

– Почему?

– Неужели вы не знаете, что нет на свете народа детолюбивее евреев?..

– Да, но я думаю – любовь в них пробуждается к детям, а не к тем бедным бесформенным комочкам мяса, еле-еле успевшим появиться на свет Божий.

– Ну, нет. Еврей любит своего ребенка до самозабвения в любой момент: при рождении, во все время роста его, любит его даже тогда, когда это уже верзила с окладистой бородой и с полдюжиной собственных детей, не менее горячо любимых. Да вот, хотите, я расскажу вам о трех этапах любви еврея к своему ребенку – этапах, которым я сам был свидетелем.

– Дело. А я вас за это угощу добрым стаканом вина.

– И это дело. Слушайте.

I

рождение ребенка

До сих пор я без тихой умильной улыбки не могу вспомнить об этом случае.

Был я врачом в маленьком, глухом, невероятно грязном городишке. Представьте себе глубокую осень, темные улицы, грязь по колена, отсутствие средств передвижения, ей-богу, Дантов ад красивее, наряднее и элегантнее. Он по крайней мере вымощен.

Однажды, когда пробило уже 11 часов, что по-тамошнему считается глубокою ночью, – ко мне постучались.

Я поморщился, но открыл дверь и впустил посетителя – худого бледного еврея, одетого в непромокаемый плащ и глубокие калоши.

– Что вам нужно?

– Ой, господин доктор, – ответил он с примесью мрачного юмора, почти всегда характеризующего бедных евреев. – Что мне нужно... Вы спросите – чего мне нужно... Мне все нужно. Но пока, если на минуточку отбросить все остальное – так мне нужно доктора.

– Заболел кто-нибудь?

– Нет. Но жена сегодня, кажется, не прочь родить.

– Так вы бы обратились к повивальной бабке...

– Господин доктор! Вы знаете, где она живет?

– Нет, не знаю.

– Так как же вы хотите, чтобы я знал? Она же ваш коллега, а не мой коллега... Так как же вы хотите, чтобы я ее знал? Какая теперь может быть бабка, когда собаку жалко на улицу поставить. Вы полюбуйтесь на эту погоду! Я рад, что еще до вас добрался...

– Хоть извозчик-то есть у вас?

– Господин доктор! Какой может быть извозчик? У нас на весь город четыре извозчика; так один пьян, у другого лошадь больная, третий уехал в уезд, а четвертого вообще нет на свете.

– Ну, да... однако, согласитесь сами, идти пешком в такую погоду...

– Господин доктор! Вы хотите, я буду плакать, хотите, я стану на колени, хотите...

– Ну ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?

– Господин доктор! Я вас на руках понесу, если хотите! Я буду ложиться, если вам нужно перейти через лужу...

– Ну, ну, довольно. Жаль только, что у меня нет глубоких калош...

– Ой, какой же может быть об этом разговор?! Калоши? Нате вам мои калоши! Дождь? Нате вам мое непромокаемое пальто.

– А вы-то сами...

– Ну, на мне есть еще верблюжья куртка. Так, а если бы ее не было? Я бы пошел в рубашке, я голый пошел бы, но доктора бы я до своей жены привел и у меня бы родился ребенок!!!

Через пять минут я, сопровождаемый будущим отцом, закутанный в его клеенчатое пальто и обутый в его колоссальные калоши, уже шагал по вязкой невидимой грязи, по-над стенками невидимых домишек среди непроглядной темноты... Холодный дождь потоками обливал нас, а под ногами шипела, хрипела и чавкала вязкая черная грязь.

– Ой, как тут нехорошо, господин доктор... Дайте мне свою руку... Вот так! Это не лужа даже, а форменное несчастье...

– Слушайте! Да возьмите вы свой плащ... Ведь у меня под ним все равно пальто...

– Что значит – пальто? А пальто не может от дождя попортиться? Железное оно или что?

Я приостановился.

– Что? Калошу потеряли? Дайте я ее вам выниму. Тоже город!

Он был трогателен до слез в своем самоотречении... И вдруг среди непроглядной тьмы послышался чей-то кашель, шлепанье ног и голос:

– Моисей, это ты?

– Ой, Яша! Хорошо, что ты вышел навстречу... Ну, что Берточка?

– Ты прямо лопнешь со смеху: она уже родила! И ребенок здоровенький, и она здоровая, прямо замечательно...

Мой спутник издал радостный крик и сейчас же захлопотал около меня:

– Теперь уже ничего не нужно, господин доктор! Уже слава Богу! Ну, я возьму плащ этот и эти тоже калоши... Бывайте здоровы. И я уже побегу как сумасшедший! Хехе! Так она родила!

Я остался один среди тьмы и дождя. Шаги счастливого отца и неизвестного Яши быстро затихли, и только один торопливый вопрос донесся до меня:

– Мальчик? Девочка? Чего ж ты молчишь?!!

Я стоял среди мрака, обливаемый дождем, без калош, не зная, в какую сторону мне идти, и печально, меланхолично улыбался.

Святой эгоизм! О, если бы мой отец так же радовался моему рождению...

II

ребенок растет

В прошлом году я встретился с одним знакомым оперным певцом, евреем, но тщательно скрывающим свое происхождение.

Он взял себе манеру говорить с московским растягиванием слов и вообще весь свой жизненный путь совершал в стиле богатого барина, аристократа, ради милого барского каприза попавшего на сцену.

– Что вы делали это лето, Борис Михайлович? – спросил я.

– Этого... м-да... Что я делал летом?.. Да так, почтеннейший, мало хорошего... Три недели провел в Ницце, поигрывал в Монте-Карло – скучища! Даже выигрыш не веселит. Потом мы с князем Голицыным объехали на автомобиле южную Италию. Вернулся в Россию, пожил немного на даче у своей царскосельской приятельницы графини Медем, а потом уехал в свое подмосковное имение Горбатово... Тощища!

– Так, так... это хорошо, – улыбнулся я. – Ну а как поживает ваш сынок Миша?

И моментально ленивый тон с барским растягиванием слов как рукой сняло:

– Ой, Миша! Это же прямо-таки замечательное существо, мой Миша! Ой! Это же не ребенок, а прямо феномен! Можете поражаться – но он уже на скрипочке играет! Скрипочку такую я ему купил!!

И сквозь холеное барское лицо международного растакуэра на меня глянуло другое – бледного еврея в непромокаемом пальто, который хотел отнести меня на руках к своему будущему ребенку...

III

ребенок вырос

На улице сгрудилась большая толпа.

Я не мог протиснуться к центру, приковавшему всеобщее внимание, но, когда кто-то громко сказал: «Доктора!

Нет ли здесь доктора?» – толпа почтительно расступилась передо мной.

– Что здесь такое?

– Да вот старый еврей – упал и лежит.

– Мертв?

– Нет, кажись, живой.

Я опустился около лежащего, ощупал его, исследовал, насколько это было удобно, и уверенно сказал:

– Обморок. От голода.

Еврея снесли в ближайшую аптеку. Я привел его в чувство, дал ему коньяку, молока, пару бисквитов и приступил к допросу.

– Сколько дней ничего не ели?

– Три дня.

– Отчего не работали?

– Кому я нужен, старый! Никто не берет. Тоже я работник – один смех.

– Семья есть?

– Сын.

– В Америке? – язвительно спросил я.

– Нет, здесь. В этом городе. Он зубной врач.

– Так. И допускает отца падать на улице в обморок от голода. Вы с ним в ссоре?

– Нет.

– Значит, он – негодяй?

– Ой, что вы говорите... Это замечательный человек!

– Он тоже нищенствует?

– Не дай Бог. Он снял себе очень миленькую квартирку...

– Вы у него просили помощи?

– Нет.

– Вы думаете, что отказал бы?

– Сохрани Боже! Он отдал бы мне последнее. Я рассвирепел:

– Так в чем же дело, черт подери, наконец?! Он слабо улыбнулся сухими губами:

– Как же я мог бы брать у него какие-нибудь средства, если он сейчас составляет себе приличный кабинет?! Вы думаете, это легко? А

что это за зубной врач без приличного кабинета? Пусть мое дитя тоже имеет себе кабинет...

И снова сквозь старое желтое лицо, изрезанное тысячью морщин, на меня глянуло другое лицо – бледное, молодое – лицо счастливого отца, который брался осенней ночью, в одной рубашке, на руках понести меня к ребенку, которого мы оба еще не знали – лишнему ненужному пришельцу в этот мир слез, скорби и печали...

Позитивы и негативы

I

прежде – времена буколические

Приглашение:

- Петр Иванович, пожалуйста завтра к нам на блины.
- Ах, это вам будет беспокойство...
- Ну какое там беспокойство – одно удовольствие. Блинков поедем с икоркой, выпьем.
- Пожалуй...
- Не пожалуй, а непременно ждем. Обидите, если не придете.

* * *

За столом:

- Петр Иванович, еще блинков!
- Увольте, ей-богу, сыт.
- Ну еще парочку с зернистой.
- Что вы, довольны! Чуть не полтарелки икры наложили...
- Ничего, кушайте на здоровье. Коньячку или рябиновой?
- Ни того, ни другого. Ей-богу, не лезет.
- Ни-ни. И думать не смейте отказываться. А семга! Да ведь вы, разбойник, семги и не попробовали?
- Ей-богу, ел.
- Нет, нет, лукавите! Позвольте, я вам положу два кусочка...
- О Боже! Я лопну прямо... Надеюсь, больше ничего не будет?
- Уха еще и рябчики!
- Уморить вы нас хотите, дорогой хозяин!

* * *

Уход:

- До свиданья, Петр Иванович! Спасибо, что зашли.
- Теперь вы к нам, Семен Мироныч...
- Да уж и не знаю, выберемся ли?
- Ну, вот новости! Послезавтра же и приезжайте! Жену привозите, деток, свояченицу и братца Николая Мироныча.
- Осторожнее, тут темно... Я вам посвечу...
- О, не беспокойтесь!

II

теперь – собачьи времена

Приглашение:

- Петр Иванович, а я завтра думаю пожаловать к вам на блины...
- Ах, это нам будет такое беспокойство.
- Ну какое там беспокойство – накормите блинами, и конец. Блинков поедим у вас с икоркой, выпьем.
- С чем, с чем?..
- А? С икоркой, говорю.
- Вам еще каменный дом в придачу не потребуется ли? Хм! С икоркой! А вы знаете, что икорка теперь 12 рублей фунт?
- Что вы говорите! Как дешево! А я думал – 14.
- Мало что вы думали... Для кого дешево, а для кого и не дешево...
- Так мы все-таки придем.
- Собственно, зачем?
- Да вот... блинков у вас поедим, выпьем.
- Это чего ж такого вы выпить собираетесь?!
- Да что у вас найдется. Не побрезгуем вашим хлебом-солью.
- Вода из водопровода у нас найдется – вот что у нас найдется. Лучше уж не приходите.
- Нет, что вы! Обязательно придем.

* * *

За столом:

– Дорогой хозяин... еще блинков... Можно попросить?

– Увольте! Ведь, ей-богу, вы уже сыты.

– Ну еще парочку... с зернистой.

– Что вы делаете?! Довольно! Чуть не полтарелки себе икры навалили.

– Ничего, буду кушать на здоровье. Коньячку мне выпить или рябиновой?

– Ни того, ни другого. Ей-богу, вам уже не лезет, а вы все пьете. Не дам больше.

– Ни-ни. И думать не можете отказывать! А то голову сметаной вымажу. Позвольте... А семга?! Я про семгу забыл. Ни кусочка не попробовал.

– Ей-богу, вы уже ели.

– Нет, нет, лукавите. Позвольте, я себе положу два кусочка...

– Два?! А вы знаете, что каждый кусочек стоит копеек семьдесят...

– Ну и черт с ним, большая беда, подумаешь...

– Да, для вас беда не большая... потому что не вы платили. Едят, едят люди, ей-богу, не понимаю, как не лопнут!

– Да-а, с вашего угощения действительно лопнешь... Пригласили на блины, смотреть не на что.

– Кто вас приглашал? Сами навязались.

– Еще бы! Если бы мы вашего приглашения ждали – ноги бы с голоду протянули.

– И протягивайте, потеря небольшая...

– Что еще будет, кроме этих блинишек?

– Ничего не будет.

– Как так ничего? Бульон же должен быть какой-нибудь или уха там... Дичь тоже всякая полагается...

– Достаточно, и так дичь несли за столом. Ну-с, можно вставать из-за стола, дорогие гости. Дорогие – сами понимаете почему. В 35 рублей обошлось ваше совершенно неуместное посещение.

– Господи! 35 рублей истратил, а поел на двести.

Уход:

- Прощайте, дорогой хозяин.
- То есть как это прощайте? До свиданья, а не прощайте!
- Разве вы думаете еще раз нас пригласить?
- Нет-с, не пригласить, а я думаю сам к вам на блины приехать.
- Не стоит.
- То есть как же это так – не стоит?! Вот еще новости! Небось сами ко мне пришли, пили, ели – а мне нельзя?! Завтра же и приеду: жену привезу, детей, свояченицу и брата, Николая Мироныча...
- Вы бы всю улицу еще притащили! Дворника уж забирайте, кухарку тоже – все равно!! Э, ч-черт, какая тут темнота на лестнице... Хозяин! Ты бы хоть осветил.
- И так хорошо. Керосин-то ноне кусается, сами знаете.
- Да тут ногу еще сломаешь в этой тьме.
- И прекрасно! Туда вам и дорога.
- Ну, беспокойной вам ночи в таком случае...
- Всего нехорошего!..

* * *

Собачьи времена наступают, истинно говорю вам.

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши – и все, все как есть перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинаящих.

Но немые и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой – не на пяти, а на одной линейке, – быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония – слабая, бледная в слове...

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расплзается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, – тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола, пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул – это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может: предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим-тихим шепотом...

Переглянулись.

– Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

– Моя.

– Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

– О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

– Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

– Пять лет тому назад – как сейчас помню – заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки – крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой – половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

– У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, – перебил, еле дыша, сосед.

– Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

– Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая такая и вся в сухарях, в сухарях – я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки – о, для аромата только, исключительно для аромата, – выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки – гам! А булка-то, знаете, мягкая французская

этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

– Не доели?!!

– Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди еще был бифштекс по-гамбургски – не забывайте этого. Знаете, что такое – по-гамбургски?

– Это не яичница ли сверху положена?

– Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого – поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка – помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса – гам!

– Неужели жареного картофеля не было? – простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

– В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы – остренькие-остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в подливку, да, зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосоленного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

– Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем – крепким пенистым пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

– Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

– Не пивом! Не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое, бургундское, по три с полтиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет – рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

– Господа! Во что мы превратились – позор! Как низко мы пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право, – право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору – почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, – вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

– Да. Поджаренный в масле! Пахнувший! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот – пусть ест!!

Бежим же, господа. Все на улице, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много; самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнушимися ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой – они сделали что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

– А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей – такой, знаешь, маленький кусочек – я бы не отрезал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

– Нет, – шепнул сосед, – не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки.

Жадно слушали.

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трагедия русского писателя

Меня часто спрашивают:

– Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

– Боюсь, – робко шепчу я.

– Вот чудак... Чего ж вы боитесь?

– Я писатель... И потому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

– Эва! Да какая же это родная территория – Константинополь.

– Помилуйте – никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля – шофер кричит: «Пожалуйста, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел – со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь, слышишь:

Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши...

Подлинная черноземная Россия!

– Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

– Тому есть примеры, – печально улыбнулся я.

– А именно?..

Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю —

О РУССКОМ ПИСАТЕЛЕ

Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:

– Прощай, моя бедная, истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась из глаз моих ты, моя старая,

добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне – моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова – и плакала.

* * *

Прошел год.

У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»...

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра» – сел за письменный стол, подумал и, потрянув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

– Что ты хочешь делать? – спросила жена.

– Хочу рассказ написать.

– О чем?

– О России.

– О че-ем?!

– Господи Боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!!

– Calmez-vous, je vous en prie.^[7] Что ж ты можешь писать о России?

– Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге... Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерibasовской».

– Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?

– А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности – Невскую улицу. Итак, «...Высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к „Медведю“. „Что, холодно, monsieur?“ – спросил метрдотель, подавая

карточку. „Mais oui,^[8] – возразил молодой сей господин. – Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!“»

– Послушай, – робко перебила жена, – разве есть такое слово – «замерзавец»?

– Ну да! Человек, который быстро замерзает – суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, – сказал тот молодой господин. – Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais^[9] и одну рюмку рабиновку».

– Что это такое – рабиновка?

– Это такое... du водка.

– А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка – жена Рабиновича.

– Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски!

И принялся грызть перо. Грыз до утра.

* * *

И еще год пронесся над писателем и его женой.

Писатель пополнил, округлил, завел свой auto,^[10] вообще, та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его – «сет селебр рюсс».^[11]

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни»... Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России...

«О, нотр повр Рюсси!^[12] – печально думал он. – Когда я приходишь домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия».

Пришел. Сел. Написал.

«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербужьен!^[13]

Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица: Крещатик... Ему очень хотелось manger.^[14]

Он заходишь на Конюшню, сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garson, une tasse^[15] Рабинович и одна застегайчик avec^[16] тарелочка с ухами».

* * *

Я кончил.

Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.

Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:

– А что, ребятажь, нет ли у кого прикурить сигарки?

– Да, – ухмыльнулся мой собеседник. – Трудно вам уехать из русского города.

Хомут, натягиваемый клещами (Московское)

Москвич кротко сидел дома и терпеливо пил черемуховый чай с лакрицей вместо сахара, со жмыховой лепешкой вместо хлеба и с вазелином вместо масла. Постучались.

Вошел оруженосец из комиссариата.

– Так что, товарищ, пожалуйста по наряду на митинг. Ваша очередь слушать.

– Ишь ты, ловкий какой! Да я на прошлой неделе уже слушал!

– Ну что ж. А это новый наряд. Товарищ Троцкий будет говорить речь о задачах момента.

– Послушайте... ей-богу, я уже знаю, что он скажет. Будет призывать еще годика два потерпеть лишения, будет всех звать на красный фронт против польской белогвардейщины, против румынских империалистов, будет обещать на будущей неделе мировую революцию... Зачем же мне ходить, если я знаю?..

– Это меня не касается. А только приказано набрать 1640 штук, по числу мест, – я и набираю...

– Вот тут один товарищ рядом живет, Егоров ему фамилия, кажется, он давно не был. Вы бы к нему толкнулись.

– Нечего зря и толкаться. Вчера в Чека забрали за пропуск двух митингов. Так что ж... Записывать вас?

– У меня рука болит.

– Чай, не дрова рубить! Сиди, как дурак, и слушай!

– Понимаете, сыпь какая-то на ладони, боюсь застудить.

– Можете держать руку в кармане.

– А как же аплодировать? Ежели не аплодировать, то за это самое...

– Хлопай себя здоровой рукой по затылку – только всего и дела.

Хозяин помолчал. Потом будто вспомнил:

– А то еще в соседнем флигеле живет один такой: Пантелеев. До чего любит эти самые митинги! Лучше бы вы его забрали. Лют до митинга! Как митинг, так его и дома не удержишь. Рвется прямо.

– Схватились! Уже третий день на складе у нас лежит. Разменяли. Можете представить – заснул на митинге!

– Послушайте... А вдруг я засну?

– В Чеке разбудят.

– Товарищ... Стаканчик денатуратцу – разрешите предложить?

– За это чувствительно благодарен! Ваше здоровье! А только ослобонить никак не возможно. Верите совести: целый день гойдаю, как каторжный, все публику натягиваю на эти самые митинги, ну их... к этому самому! У всякого то жена рожает, то он по службе занят, то выйти не в чем. Масса белобилетчиков развелось! А один давеча, как дитя, плакал, в ногах валялся. «Дяденька, – говорит, – увольте! С души прет, – говорит, – от этого самого Троцкого. Ну что, – говорит, – хорошего, ежели я посреди речи о задачах Интернационала – в Ригу вдруг поеду?!» Он плачет, жена за ним в голос, дети вой подняли, инда меня слеза прошибла. Одначе – забрал. Потому обязанность такая. Раз ты свободный советский гражданин – слушай Троцкого, сволочь паршивая! На то тебе и свобода дадена, чтоб ты Троцкую барщину сполнял! Так записать вас?

– А, ч-черт!.. А что, не долго будет?

– Да нет, где там долго! Много ли – полтора-два часа. Черт с ними, идите, господин, не связывайтесь лучше! И мне, и вам покойнее. Речь Троцкого, речь Бухарина, речь венгерского какого-то холуя – да и все. Ну, потом, конечно, лезорюция собрамшихся.

– Ну вот видите – еще и резолюция. Это так задержит...

– Контора задержит? Лезорюция?! Да она уже готовая, отпечатанная. Вот у меня и энземплярчик есть для справки.

Оруженосец отставил ружье, пошарил в разносной сумке и вынул серую бумажку.

Москвич прочел:

Мы, присутствовавшие на митинге тов. Троцкого, подавляющим большинством голосов вынесли полнейшее одобрение всей советской политике, как внутренней, так и внешней; кроме того, призываем красных товарищей на последний красный бой с белыми польскими панями, выражаем согласие еще сколько влезет терпеть всяческие лишения для торжества III Интернационала и приветствуем

также венгерского товарища Бела Куна! Да здравствует Троцкий, долой соглашателей, все на польских панов! Следует 1639 подписей.

Прочел хозяин. Вздохнул так глубоко, что на рубашке отскочила пуговица.

– Ну что же... Ехать так ехать, как сказал Распутин, когда Пуришкевич бросал его с моста в воду.

Контроль над производством

Один из краеугольных камней грядущего рая на земле – Третьего Интернационала – это контроль над производством.

Твердо знаю, во что эта штука выльется.

Писатель только что уселся за письменный стол, как ему доложили:

– Рабочие какие-то пришли.

– Пусть войдут. Что вам угодно, господа?

– Так что мы рабочий контроль над производством. Выборные.

– Контроль? Над каким производством?

– Над вашим.

– Какое же у меня производство? Я пишу рассказы, фельетоны.

Это контролю не поддается.

– Все вы так говорите! Мы выборные от типографии и артели газетчиков, и мы будем контролировать ваше производство.

– Виноват... Как же вы будете осуществлять контроль?

– Очень просто. Вот мы усаживаемся около вас и... вы, собственно, что будете писать?

– Еще не знаю: темы нет.

– А вы придумайте.

– Хорошо, когда вы уйдете – придумаю.

– Нет, вы эти старые штуки оставьте. Придумайте сейчас.

– Но не могу же я сосредоточиться, когда две посторонних физиономии...

– Простите, мы вовсе не посторонние физиономии, а рабочий контроль над вашим производством! Ну?..

– Что «ну»?

– Думайте скорее.

– Поймите же вы, что всякое творчество – такая интимная вещь...

– Вот этого интимного никак не должно быть! Все должно делаться открыто на виду и под контролем.

Писатель задумался.

– О чем же вы призадумались, позвольте узнать?

– Не мешайте! Тему выдумываю.

– Ну вот и хорошо. Только скорей думайте! Ну! Придумали?

– Да что вы меня в шею гоните!

– На то мы и контроль, чтобы время зря не пропадало. Ну, живей, живей!..

– Поймите вы, что не могу я так сосредоточиться, когда вы каждую секунду с разговорами пристаёте.

Рабочий контроль притих и принялся с любопытством разглядывать лицо призадумавшегося писателя.

А писатель в это время тер голову, почесывая у себя за ухом, кричал и наконец вскочил в отчаянии:

– Да поймите же вы, что нельзя думать, когда четыре глаза уставились на тебя, как баран на новые ворота!

Рабочий контроль переглянулся.

– Замечаете, товарищ? Форменный саботаж! То ему не разговаривай, то не смотри на него, а то он еще, пожалуй, и дышать запретит! Небось когда нас не было – писал! Тогда можно было, а теперь нельзя? Под контролемто небось трудно! Когда все на виду, без обмана, – тогда и голова не работает?! Хорошо-с!.. Так мы и доложим куда следует!

Рабочий контроль встал и, оскорбленный до глубины души, топоча ногами, вышел.

От автора.

В доброе старое время подобные произведения кончались так:

«...На этом месте писатель проснулся, весь облитый холодным потом».

Увы! Я кончить так не могу.

Потому что – хотя мы и обливаемся холодным потом, но и на шестом году еще не проснулись.

Мурка

Несколько времени тому назад во всех газетах была напечатана статья советского знатока по финансам т. Ларина – о том, что в Москве на миллион жителей приходится около 120 000 советских барышень, служащих в советских учреждениях, а среди массы этих учреждений есть одно – под названием «Мурка»...

«Что это за учреждение и что оно обслуживает, – признается откровенно Ларин, – я так и не мог ни у кого добиться».

Есть в Москве Мурка, а что такое Мурка – и сам Ларин не знает.

А я недавно узнал. Один беженец из Москвы сжалился над моим мучительным недоумением и объяснил мне все.

– Что такое, наконец, Мурка? – спросил я со стоном. – Спать она не дает мне, проклятая!

– Ах, Мурка? Можете представить, никто этого не знает, а я знаю. И совершенно случайно узнал...

– Не тяните! Что есть – Мурка?

– Мурка? Это Мурашовская комиссия. Сокращенно.

– А что такое – Мурашов?

– Мой дядя.

– А кто ваш дядя?

– Судебный следователь.

– А какая это комиссия?

– Комиссия названа по имени дяди. Он был председателем комиссии по расследованию хищений на Курском вокзале.

– Расследовал?

– Не успел. На половине расследования его расстреляли по обвинению в сношениях с Антантой.

– А Мурка?

– Чего Мурка?

– Почему Мурка осталась?

– Мурка осталась потому, что тогда еще дело не было закончено. Потом оно закончилось несколько неожиданно: всех заподозренных в хищении расстреляли по подозрению в организации покушения на Володарского.

– А Мурка?

– А Мурка существует.

– Я не понимаю, что же она делает, если и родоначальника ее расстреляли?.. Теперь Мурка окрепла и живет самостоятельно. Здоровая сделалась – поперек себя шире.

– Видите ли, когда моего дядю Мурашова назначили на расследование, он сказал, что ему нужен секретарь. Дали. Жили они себе вдвоем, поживали, вели следствие, вдруг секретарь говорит: «Нужна мне машинистка». – «Нужна тебе машинистка? На тебе машинистку». Машинистка говорит: «Без сторожа нельзя». – «На тебе сторожа». Взяли сторожа. А дядя мой предобрый был. Одна дама просит: «Возьмите дочку, пусть у вас бумаги подшивает – совсем ей есть нечего». Взяли дочку. И стала Мурка расти, пухнуть и раздвигаться влево, вправо, вверх, вниз, вкривь и вкось...

Однажды захожу я, вижу – Муркой весь дом занят... Всюду на дверях дощечки: «Продовольственный отдел», «Просветительный отдел»...

– Позвольте... Неужели Мурка сама кормила и просвещала этих вокзальных хищников?!

– Что вы! Их к тому времени уже расстреляли... Для себя Мурка завела и продовольственный, и просветительный отдел, и топливный... К тому времени уже служило в Мурке около 70 барышень, а когда для этой оравы понадобились все отделы, пригласили на каждый отдел новый штат – и число служащих вместе с транспортным и библиотечным возросло до 124.

– Что ж... все они так и сидели сложа руки?

– Почему?

– Да ведь и дядю расстреляли, и вокзальных воров стреляли... Ведь Мурке, значит, уже нечего было делать?

– Как нечего? Что вы! Целый день работа кипела, сотни людей носились с бумагами вверх и вниз, телефон звенел, пишущие машинки щелкали... Не забывайте, что к тому времени всякий отдел обслуживало уже около полутора ста служащих в Мурке.

– А Мурка кого обслуживала?

– Служащих.

– Значит, Мурка обслуживала служащих, а служащие Мурку?

– Ну конечно. И все были сыты.

– А не приходило когда-нибудь начальству в голову выяснить: на кой черт нужна эта Мурка и чем она занимается?

– Приходило. Явился один такой хват из ревизоров, спрашивает: «Что это за учреждение?» Ему барышня резонно отвечает: «Мурка». – «А что такое – Мурка?» Та еще резоннее: «А черт его знает. Я всего семь месяцев служу. Все говорят – Мурка, и я говорю Мурка!» – «Ну, вот, например, что вы лично делаете?» – «Я? В отпускном отделе». – «Какие же вы товары отпускаете?» – «Не товары, а служащих в отпуск. Регулирую отпуска». – «И для этого целый отдел?!» – «Помилуйте, у нас до 300 человек служащих!» – «А это что за комната?» – «Продовольственный отдел. Служащих кормим». – «А это – ряд комнат?» – «Топливный, просветительный, агитационный, кульминационный, – работы по горло». – «И все для служащих?» – «А как же! У нас их с будущего месяца будет около 500. Прямо не успеваешь». – «Так, значит, так-таки и не знаете, что такое Мурка?» – «Аллах его ведает! Был тут у нас секретарь, старожил, – тот, говорят, знал, – да его еще в прошлом году за сношение якобы с Деникиным по ветру пустили». – «Ну, а вы сами как лично думаете, что значит: „Мурка“?» – «Гм... Разное можно думать. Может быть – морская канализация?» – «Ну что вы! Тогда была бы Морка, или Морская канализация... И потом, какая канализация может быть на море?»
Постоял еще, постоял, плюнул, надел шапку и ушел.

И до сих пор Мурка растет, ширится. Говорят, скоро под Сестрорецком две колонии открывает: для служащих-инвалидов и для детей служащих.

Помолчали мы.

– Вы помните, – спросил я, – песенку «Мурочка-Манюбочка»?..

– Еще бы, Сабинин пел.

– Так вот там есть слова:

Стала Мурка – содержанка
Заправила банка...

– Ну?

– Так разница в том, что заправила банка содержал Мурку на свои деньги, а Советская Россия содержит сотни Муток – на

народные!..

Алло!

... личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Цитата из этого рассказа.

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное средство; но если человека заставить пролотить столовую ложку мышьяку – оба бесцельно погибнут. И человек и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по спине – трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умильнее ребенка; природа, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы создать чудесного, цветущего голубоглазого ребенка. Кто из нас не любовался ребенком, не восхищался ребенком; но если кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа ребятами в прохожих – прохожие отнесутся к этому с чувством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем иголка. А попробуйте ее пролотить? Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются и ручкой зонтика не извлекают попавших в глаз соринки, но разговаривать по телефону безо всякой нужды больше получаса – на это находятся охотники. И они не видят в этом ничего дурного.

* * *

Иногда ко мне по телефону звонит барышня. Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого человека есть своя барышня, которая ему звонит.

Характер такой барышни трудно описать. Она не обуреваема сильными страстями, не заражена большими пороками; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр, – они образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае какой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но составляя в то же время в общем итоге «общественное мнение по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жизни нельзя – жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге истории они вместе со своими кавалерами занимают очень видное место; они – та белая бумага, на которой так хорошо выделяются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами – театры бы пустовали, издатели модных книг разорвались бы, а телефонистки на центральной станции ожирели бы от бездействия и тишины.

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве нескольких десятков тысяч они ежечасно настоятельно требуют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне, – она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я, вообще, поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?

* * *

- Вас просят к телефону!
- Кто просит?
- Они не говорят.

– Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?

– Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.

– Ах ты, Господи! Алло! Кто у телефона?! Говорит барышня. Отвечает:

– О, боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?

– Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, – говорю я с наружной вежливостью. – Что скажете хорошенького?

– Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали говорить комплименты?

– Это не комплимент.

– Да, да – знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.

Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.

Я молчу, а она спрашивает:

– Что вы говорите?

Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:

– Вы из дому говорите?

– Какой вы смешной! А то откуда же? Что бы такое ей еще сказать?

– А я думал, от Киндякиных.

– От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится m-те Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага...

Это она называет «интриговать». Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:

– Я его вчера ужасно заинтриговала. Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, пляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?» Над ухом голос:

– Что вы там – заснули?

– Нет, не заснул.

Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь...

– Алло! Ну, что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы подделываете?

Помедлив немного, я раздражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:

– Что я подделываю? Преимущественно кредитные бумажки.

– Алло? Я вас не слышу!

– Кредитные бумажки!!!!

– Что – кредитные бумажки?

– Я. Подделываю.

– К чему вы это говорите?

– А вы спрашиваете, что я подделываю? Я не разобрал – два «д» у вас или одно. Вот и ответил.

Этот каламбур приводит ее в восхищение.

– Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Серьезно, что у вас новенького?

Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.

– Как вампиры могут пить такую гадость?

– Что-о?

– Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.

Она нисколько не удивляется обороту разговора:

– А вы верите в вампиров?

Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:

– Верю.

– Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите в вампиров. Ну, скажите: какие основания для этого вы имеете? Алло!

– Что?

– Я спрашиваю: какие у вас основания?

– На кого? – бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».

– «На кого» не говорят. Говорят: для чего.

– Что «для чего»?

– Основания.

– Жизнь не ждет, – возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.

– Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?

– Интуиция.

Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как вспугнутая птица, перепархивает на другой сук:

– Что у вас, вообще, слышно?

– Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.

– У какого Нарановича?

– Портной. Вероятно, дамский.

– Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще, вы за последнее время ужасно испортились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая претонкая проволока – единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место проволоки и... А ведь в самом деле – может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». («Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!»)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.

Я кричу:

– Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу – только между нами. Ладно? Даете слово?

– О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!

– Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин – бледный, как смерть! Я...

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонить), – кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:

– Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъединили?! Дайте номер 54–27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:

– Или трубка снята или повреждение на линии. Милая телефонистка.

* * *

Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.

Однако, когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую – пол холоден, как лед.

– Алло! Кто?

– Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?

Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:

– А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина – тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же на столе. Я кстати и позвонила вам... Алло! Почему не отвечаете? Центральная!! Что это такое? Опять порча? Господи!

* * *

Вот я написал рассказ.

Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать, – на свете станет жить немного легче.

* * *

Прошу другие газеты перепечатать.

Одиннадцать слонов

I

Схватив меня за руку, Стряпухин быстро спросил:

– В котором ухе звенит? Ну! Ну! Скорее!!

– У кого звенит в ухе? – удивился я.

– Да у меня! Ах ты, Господи! У меня же!! Скорее! Говори!

Я прислушался:

– В котором? Что-то я не слышу... А ты сам сразу не можешь разобрать?

– Да ты угадай, понимаешь? Угадай! Какой ты бестолковый!..

– Да угадать-то не трудно, – согласился я. – Если бы ушей было много – ну, тогда другое дело... А то два уха – это пустяки. Левое, что ли?

– Верно, молодец!

Я самодовольно улыбнулся.

– Еще бы! Я могу это – и вообще... многое другое... А зачем тебе нужно было, чтобы я угадал?..

– А как же! Такая примета есть... Я что-то задумал. Если ты угадал, значит, исполнится.

– А что ты задумал?

– Нельзя сказать. Если скажу – оно не исполнится.

– Откуда ты знаешь?

– Такая примета есть.

– Ну, тогда прощай, – проворчал я, немного обиженный. – Пойду домой.

– Уже уходишь? Да который теперь час?

– Не могу сказать, – упрямо ухмыльнулся я.

– Почему?

– Такая примета есть.

Его лицо выразило беспокойство.

– Неужели есть такая примета?

– Еще бы... Самая верная. Несчастье приносит.

– А ты знаешь, я ведь часто отвечал на вопрос: «Который час?».

– Ну вот, – улыбнулся я зловеще. – И пеняй сам на себя.

Обязательно это к худу.

Он призадумался:

– Постой, постой... И верно ведь! Вчера у меня шапку украли в театре.

– Каракулеву? – спросил я.

– Нет, котиковую.

– Ну, тогда это ничего.

– А что?

– Примета такая есть. Пропажа котиковой шапки – в доме радость.

Он даже не спросил: в чьем доме радость – в его или воровском. Просиял.

– Я тоже с тобой выйду. Прислуга побежала за ворота – дай я тебе пальто подержу.

Я натянул с его помощью пальто, а когда он снял с вешалки свое, я сказал:

– Ты прости, но я тебе тем же услужить не могу.

– Почему?

– Такая примета есть: если гость хозяину пальто подает – в доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня и наскоро натянул в углу сам на себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он задумчиво сказал:

– Да, приметы есть удивительные. Есть счастливые, есть несчастливые. Но на днях я узнал удивительную штуку, которая приносит счастье и застраховывает от всяких неудач.

– Это еще что?

– Слоны. Одиннадцать слонов. Нужно купить одиннадцать штук от самого большого до самого маленького и держать их в доме. Поразительная примета.

– Что ж ты, уже купил их?

– Девять штук. Двух еще нет. Самых больших. Да они дорогие, большие-то. Рублей по тридцати... Кстати, ты не можешь одолжить мне пятьдесят рублей? Я бы завтра комплект уже имел.

– Что ты! Разве можно одалживать деньги в пятницу?! Есть такая приме...

– Да сегодня разве пятница? Нынче ведь четверг, – возразил он. Сначала я растерялся, а потом улыбнулся с видом превосходства.

– Я знаю, что четверг. Но ведь четверг – это у нас?

– Ну да.

– А в Индии-то что теперь? Пятница!

– Пятница, – машинально подтвердил он, приоткрыв от недоумения рот.

– Ну вот. А слоны-то ведь индийские?

– Какие слоны?

– Да которых ты собираешься покупать!

– Предположим.

– То-то и оно. Как же можно в пятницу деньги давать взаймы? Несчастье... Страшная примета есть.

Он замолчал.

II

Стряпухин исчез на долгое время. Но однажды пришел ко мне расстроенный, с явными признаками на лице и в костюме целого ряда жизненных неудач.

– Эге, – сочувственно встретил я его. – Твои дела, вижу, неважные. Как поживаешь?

– Да, брат, плохо... У жены чахотка.

– Гнусная вещь, – согласился я. – Впрочем, вези ее на юг. Теперь это легко поправить можно.

– Да откуда же я денег-то возьму?

– А у жены-то были ведь деньги... я знаю... Несколько тысконок.

– Были да сплыли. На бирже проиграл.

– Эх, ты, Фалалей! Ну, на службе возьми аванс.

– Хватился! Со службы уволили. За биржевую игру. Вы, говорят, еще наши деньги проиграете, казенные.

– Однако! А что же твой дядя какой-то? Помнишь, ты говорил: собирался умереть и тебе дом оставить.

– Да и умер. Только не тот дядя, а другой. Вдовец с двумя детьми. Детей мне оставил... Прямо беда!

– Так ты бы продал что-нибудь из обстановки... У тебя ведь обстановка хорошая, я помню, была...

Он тоскливым взглядом посмотрел на меня.

– Продано, брат. Почти все. Кроме слонов.

– Каких слонов? – удивился я.

– Да тех, что я, помнишь, говорил.

– А они дорогие?

– Рублей полтораста...

– Так ты бы их и пустил в оборот. Это ведь жене месяц жизни в Крыму.

Стряпухин откинулся назад и всплеснул руками:

– Что ты! Как же я могу их продать, когда они приносят счастье!

III

Я долго прохаживался по кабинету, бормоча себе под нос всякие рассуждения.

Остановился перед Стряпухиным и сказал:

– Дурак ты, дурак, братец!

– Почему?

– Такая примета есть.

Он бледно, насильственно улыбнулся.

– Вот ты теперь уже и ругаешься. Ругаться-то легко.

– И ругаюсь! Обрати внимание: не было у тебя этих слонов – жена была здорова, деньги в банке лежали и служба была. Появились слоны, которые, ты говорил, счастье приносят, – и что же!

– А ведь верно! – охнул он, побледнев. – Я совсем не обратил на это внимания... Действительно... Знаешь, тут есть какой-то секрет. Может быть, не одиннадцать слонов нужно, а какое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой:

– Весьма возможно... И может быть, нужно было не слонов покупать, а каких-нибудь верблюдов или зайцев.

– А в самом деле! – ахнул он, приоткрыв по своей привычке от изумления рот.

– И может быть, не покупать их, а украсть нужно было...

– Да, да!..

– ...и держать не в доме, а в погребе.

Оба мы замолчали. Он поднял опущенную голову и несмело спросил:

– Ну, как ты думаешь – верблюда или зайца? Я пожал плечами.

– Конечно, верблюда.

– Почему?

– Примета такая есть.

– А сколько их надо?..

– Тридцать восемь штук.

– Ого! – с оттенком уважения в голосе пробормотал Стряпухин. – Вот это число! Что же их... покупать нужно?

– Украсть! Только украсть! И держать в погребе на бочке с огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал выражение лица моего, и в глазах его я прочел легкое колебание.

– Что это ты?.. – робко заметил он. – Не то говоришь серьезно... не то насмехаешься надо мной.

Я горячо воскликнул:

– Что ты, что ты! Я говорю совершенно серьезно. Слоны ведь тебе не помогли, а? Одиннадцать слонов мал мала меньше. Ведь не помогли? Так?

– Не помогли, – вздохнул он.

– Ну вот! Попробуем верблюдов. Тридцать восемь верблюдов! Не купим их, а стащим в магазине: это и дешевле и практичнее. Поставим в погреб и посмотрим – не повернется ли фортуна к тебе лицом? Если все будет по-прежнему плохо – верблюдов к черту, купим лисиц или лягушек, индийских болванчиков, крокодилов, черта, дьявола лысого купим! Попробуем покупать по семнадцать, по тридцать три, по шестьдесят штук, будем держать их под полом, на крыше, в печной трубе – все испробуем, все испытаем!! Как только тебе повезет – стоп! Вот, значит, скажем мы, это и есть настоящая примета!

– Да ты это... серьезно?

– А то как же, братец? Слоны твои провалились – нужно искать других путей. Какой-то немец-профессор сделал свыше девятисот комбинаций лекарства, пока не наткнулся на настоящую. У нас будет девять тысяч комбинаций – но ничего! Ведь он открывал только новое лекарство, а мы ищем секрет счастья... Разрешить проблему счастья – какая это великая миссия!!

– Да ведь этак всю жизнь провозишься...

– А ты что же думал? И провозишься. Он устало опустил голову:

– Боже, как все это неопределенно... А может быть, вся штука в том, что слонов нужно не одиннадцать, а двенадцать. Прикупим еще одного...

– Может быть! Жаль, что это не ослы. Если бы ты имел одиннадцать ослов, то двенадцатого и прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончательно запутавшегося в сложной тине жизни, он поднял на меня глаза:

– Почему?

IV

Уходя, он небрежно спросил, боясь выказать интерес к ответу и вызвать тем новые мои насмешки:

– Сколько, ты сказал, верблюдов?

– Тридцать восемь, – ехидно улыбнулся я. – Думаешь купить?

– Нет, не то. А вот нужно бы запомнить цифру тридцать восемь. Буду нынче в клубе, возьму карту лото с этой цифрой.

– Ага! Ты и этим занимаешься? Что же, везет?

– Пока нет.

И в глазах его светилось отчаяние.

– Почему? – допрашивал я безжалостно. – На какую, например, цифру ты вчера брал карту?

– Восемьдесят шесть. Счастливое число. Мой кузен Гриша на эту цифру в лотерею корову выиграл.

– Значит, и ты выиграл?!!

– Нет, – робко прошептал он, запуганный моим криком, моими оскорблениями, моей иронией.

Я схватил его за шиворот.

– Так как же ты, каналья, находишь это число счастливым?!

– Постой... Пусти! Я бы, может быть, и выиграл, а только, уходя из дому, забыл ключ и с дороги вернулся. А это считается очень нехорошо. Примета...

* * *

Рассказанную мною правдивую историю я считаю очень нравоучительной.

Тем не менее я уверен, что среди моих читателей найдется парадругая людей, которые запомнят цифры 38 и 86.

И подумают они: «Что ты там себе ни говори, а мы на эти цифры возьмем карточку и сыграем в лото».

Так и быть, сообщу я для них еще одну, самую верную счастливую цифру: пятьдесят девять.

Играйте на нее... Замечательная цифра.

А проиграете, – значит, покойника встретили или кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне все равно вас не жаль.

Бельмесов

I

– Иван Демьяныч Бельмесов, – представила хозяйка.

Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности – сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза, тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова – шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все – и волосы, и лицо, и борода было выжжено, обесцвечено – солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным.

Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:

– Фу, жара! Вы думаете, я как пишушь?

– Что такое?

– Вы думаете, как писать мою фамилию?

– Да как же: Бельмесов.

– Сколько «с»?

– Я полагаю – одно.

– Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмесов. В переводе – прекрасная обедня.

– Почему же русское окончание?

– Потому что я, все-таки, русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, – обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. – Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где, бишь, они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая...

Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.

– Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.

– Очень просто, – засмеялась хозяйка. – Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.

– Ах, как это жалко, – сказал Бельмесов, опечаленный. – А я-то думал вам показать.

Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»

Я спросил по возможности деликатно:

– У вас свое имение? Вы помещик?

– Где там, – махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой. – Служу, государь мой. Состою на службе.

Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?», – но не хотелось быть назойливым.

Я взглянул на часы, попрощался и ушел.

II

О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал.

– Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим – о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристей выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание... А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи... слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике – Щербакине?

– Нет, не слышали, – отозвался один из стариков. – А что?

– Да как же... Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды, приблизительно, этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю. Эх тебя разбросало. Сел я обедать, съел, что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» «Нет, говорят, так... средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» – и на другой день утром – все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»... Вот это – края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки».

– Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? – недоверчиво спросил я.

– Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы – тут скоро щербакинские земли и кончились.

– А вы долго на мели просидели? – спросил рыжий старик.

– Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде – сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче...

– То есть, наоборот, – поправил рыжий.

– Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего... Да-с. Вот вам и Ротшильд!

Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:

– Ради бога! Откуда у нас появился этот осел? Марья Игнатьевна немного обиделась:

– Почему же осел? Человек как человек.

– Но ведь у него мозги чугунные.

– Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, – сухо заметила она. – Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.

Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.

– Кто такой этот Бельмесов? – нетерпеливо спросил я.

– А как же! У нас же служит.

– Да кем? Что он делает?

– А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.

– Это он-то дока?

– Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Ён, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене...

– Много бы я дал, чтобы посмотреть! – вырвалось у меня.

– В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены – приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете – вам любопытно будет... Среди учеников такие типы встречаются... Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.

III

За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.

Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым, стриженным головкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется – мука будет. Бодритесь, детки...»

– Кувшинников, Иван, – сказал Бельмесов. – А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников... Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?

– Тридцать.

– Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?

Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.

– Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.

– Правильно. Но тридцать – чего? Молчал Кувшинников.

– Ну, чего же – тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?

У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.

– Тридцать... лошадей.

– А куда же девались деревья? – иронически прищурился Бельмесов. – Нехорошо, тёзка, нехорошо... Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг – на тебе! – тридцать лошадей и ни одного дерева... Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?

Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.

Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:

– Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади? Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево – сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников, Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат!

– Я знаю, – тоскливо промямлил Кувшинников. – Я учил.

– Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат Иван. Кулебякин, Илья! Ну... ты нам скажешь, что такое дробь?

– Дробью называется часть какого-нибудь числа.

– Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набыю ружье дробью, это будет часть какого числа?

– То дробь не такая, – улыбнулся бледными губами Кулебякин. – То другая.

– Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что о

последней, – ты должен был ответить: «Арифметической дробью называется – и так далее»... Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?

– Простые бывают дроби, – вздохнул обескураженный Кулебякин, – а также десятичные.

– А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка?

– Больше нет, – развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какойнибудь дробью ненасытного экзаменатора.

– Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделяет – это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый... Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка – нашего великого, разнообразного и могучего русского языка – ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко! Вот ты, Лысенко, Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?

– Знаю.

– Очень хорошо-с. Ну, а цепное исключение тебе известно?

Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным взглядом и, повесив голову, умолк.

– Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?

* * *

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.

Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:

– Ну как?.. Не говорил ли я, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел! Да только жалко, не жилец он у нас... Переводят с повышением в Харьков. А жалко... Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!

Фат

Подслушивать – стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

– Ну, вот видите... Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой... По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

– Да... В нем что-то есть.

– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?

– Что вы, что вы! – возмутилось контральто. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

– А я бы, знаете... изменила. Ей-богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..

– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

– Да ну-у?..

– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы чтонибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу!»

– Ну, понятие как понятие. Не хуже других. – И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!

– Нет, не Синицын!

– А кто же? Ну, голубушка... Кто?

– Мукосеев.

– Ах, этот...

– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона... Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»... Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

– Нет, нет... ни за что!

– Что «ни за что»?

– Не изменю мужу. Тем более с ним.

– Почему же «тем более»?

– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегаёт. Его любить, я думаю, одно мученье.

– Да ежели вы к нему отнесётесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.

– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются...

– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте...

– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьёт, играет в карты...

– Милая моя! Да что же он должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек...

– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает...

– Где оно там просвечивает... А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет...

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека... И в-третьих, он фат!

– Он... фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?

– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами... А вы говорите – не фат! Да я...

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана...

Бритва в киселе

Глава I

Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.

В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.

Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.

Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума... Ни с того, ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: привстал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.

В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.

– Выпали? – осведомился он.

Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:

– Ну?!

– Что такое? – спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.

Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы...

– Чего вы сидите?

– А что?

– Да делайте же что-нибудь!

– А что бы вы считали в данном случае уместным?

– О, Боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.

– За что?

– Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.

Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:

– Но ведь от того, что я поколочу этого безнадёжного дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?

– Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?

– О, нет, что вы!..

– Так чего же вы разлеглись на дороге?

– А я сейчас встану.

– От чего это, собственно, зависит?

– Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.

– Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель! Ошмянский заложил руки за голову, запрокинулся и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:

– Клюквенный?

– Это неважно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя, – вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку... Ну – гоп!

Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:

– А теперь что?

– О Боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, – хоть выругайте!

– Сейчас, – вежливо согласился Ошмянский. Подошел к вознице и, свирепо нахмутив брови, сказал:

– Мерзавец. Понимаешь?

– Понимаю.

– Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.

И оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.

– Уже.

– Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполнили. Кисель!

– А вы – бритва.

– Ну – едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчаса полежите? Поехали.

Глава II

В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили...

Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, – это мало исследовано... Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.

Глава III

На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу «Бристоль», № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.

А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря тому дураку о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.

Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.

Действенность этого, неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.

Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:

– Милый, милый, глупый, глупый! И засмеялась.

– И однако он, кажется, порядочная размазня... Женщина из него может веревки вить.

Закончила несколько неожиданно:

– А оно, пожалуй, и лучше.

Глава IV

Прошло две недели. Гостиница «Бристоль».

На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии: «Ошмянский. Бронзова».

Глава V

В августе оба уезжали в Петроград. В купе, под убаюкивающее покачивание вагона, произошел разговор:

– Володя, – спросила Бронзова. – Ты меня любишь?

– Очень. А что?

– Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное... Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует... Только разгонишься и уже – стоп! Стена.

– Например, какая фамилия?

– Например, моя – Бронзова.

– Что же с этим поделать?..

– Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина...

– Я тебя не понимаю.

– Володя... Я хочу, чтобы ты на мне женился.

– Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?

Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.

– Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это...

– А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?

- Настоящую любовь ничто не убьет.
 - А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?
 - Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?
 - Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь – женюсь.
 - Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.
- Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: «Уж если я чего захочу – так то и будет. Милый, мой милый Кися...»

Глава VI

- Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:
- Всего три комнаты, а как мило, уютно...
- Она подсела к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, глядя его волосы, спросила:
- Володя... А когда же наша свадьба?
 - Милая! Да когда угодно. Вот только получу из Калиткинской управы документы – и сейчас же.
 - А без них нельзя?
 - Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое...
 - А зачем они лежат там?
 - Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.
 - Значит, ты это сделаешь?
 - Она еще спрашивает! Чье это ушко?
 - Нашего домохозяина.
 - Ах, ты, мышонок.....
 -
 -

Глава VII

Снова сидела Бронзова у Ошмянского... Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять. Потому что был уже декабрь.

– Володя...

– Да?

– Ну, что же с документами?

– С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.

– Спасибо, милый!.. Володя...

– Да?

– Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?

– Вместе? Это было бы хорошо.

– Хочешь ко мне переехать?

– Нет, что ты... Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать...

– Володя... Ну, я к тебе перееду... Хочешь?

– Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли, – оба мы будем друг другу мешать... Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.

Она притихла. Отвернулась и молчала – только плечи ее тихо вздрагивали.

– Катя! Ты плачешь? Глупая... Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!

– М...не т-ак хо-те-лось...

– Ну хорошо, ну, будет по-твоему... Переезжай.

– Милый! Ты такой хороший, добрый...

И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка...

Глава VIII

Сидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и приятель, Тутыкин.

– Володя! Ну что, получил уже документы?

– Понимаешь, написал я все честь-честью – и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли?.. У нас теперь что? 14-е февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.

– Напиши им еще.

– Конечно, напишу.

Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала:

– А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?

– Да когда же я ее буду носить?

– Когда угодно! Ты ведь писатель – и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан...

– Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..

– Нет, нет! Володя... Я хочу!

– Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.

В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:

– Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.

– Красивая?

– Красивая. И острая, как бритва.

Глава IX

Когда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:

– Катя... Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду...

– Куда же? Ведь клуб уже закрыт.

– А... видишь... Мне пописать хочется. Настроение нашло.

– Ну-у-у?

– Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленьких комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.

– Володя! – всплеснула руками Бронзова. – Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?

– Ну, что ты... Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.

Глава X

- Володя! Заказал куртку?
- Да, был я у портного... Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон... и вообще.
- Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный... Документы уже получил?
- Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они гденибудь. На почте, что ли?!
- Дома сегодня будешь?
- То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить... У себя же и заночую...

Глава XI

– Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.

Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.

Сделав печальное лицо, пошел к Бронзовой.

– Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.

– Ну, давай я зашью.

– Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок – надеть трудно...

Глава XII

Ошмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.

– Кто там?

Дверь скрипнула – вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.

– Прости, что я врываюсь к тебе. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному... Но – не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз...

– Катя! Что случилось?

– Что? – Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. – Что? – Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: – Ты победил меня, Галилеянин...

– Катя! Чем?!.. Что ты говоришь?

– Ну, полно... Все равно я ухожу уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов... Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я – бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право – руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни... Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное – но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!

– Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?

– Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились – прошло одиннадцать месяцев – где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе – ты согласился... Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке – носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло... Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?

Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и – ушла. Навсегда.

Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.

Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных...

«В один чудесный день,
Когда ложилась тень,
Ко мне пробрался кирасир...»

А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу...

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой склонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. – Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

– О, помилуйте... – скромно возразил я.

– Нечего там скромничать. Расскажите мне какуюнибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

– Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

– Ну, что-нибудь такое... юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется! Ну, ну, не скромничайте!

– Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

– Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

– Ну?

– Что «ну»?

– Что же дальше?

– Да это все.

– Что же отец... вернулся домой?

– Да это не важно. Вернулся – не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

– А что, вы говорите, он ответил?

– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

– Ну?

– Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?

– Да.

– Взбесило?

– Да!

– Ну?

– Что еще такое – «ну»?

– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

– Ну да.

– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

– Что-о?..

– Я говорю, трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-богу, уморил; папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и – что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколоты записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать».

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет? Я вздохнул и начал терпеливо:

– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

– Важнее?

– Да.

– Сколько он там написал, что пробежит в час?

– Пятнадцать верст.

– Это много считается?

– Порядочно.

– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

– Не знаю.

– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

– Да.

– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше, а?

– Да.

Мы помолчали.

– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его? Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю – никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

– Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, неожиданно захохотал.

– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зонтик? Хвать-похват, ан зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают. Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете? Ну, расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький...

– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, – и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий, страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно. Ради Бога довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки, и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания»; молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице... Для чего и кому все это нужно? – я не понимал.

Теперь – понимаю.

Функельман и сын (Рассказ матери)

Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться – это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли, или что?

– Мотя, – говорю я ему, – Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?

Так он поднимет на меня свои глаза и скажет:

– Что значит – каламитно! Ничего мне не каламитно!

– Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу.

– Ой, – говорит, – отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом, у меня есть запросы.

Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.

– Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? «Запросы, запросы!» Отцу твоему сорок шестой год – он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил: «Цены без запроса»!

– Мама, не мешай мне! Я читаю.

– Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.

Вижу – мой Мотя все крутит и крутит.

– Что ты крутишь?

– Ничего я не кручу. Не мешай читать.

Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень – или что? Я же так и знала! «Записки Крапоткина»!

– Тебе очень нужно знать записки Крапоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!

– Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю. Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый! И так мне в сердце ударило, будто с камнем. Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до отца.

– Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя – или что? Он должен обязательно сорочки перекладывать...

– А что?

– Ты бы лучше на Мотю посмотрел.

– А что?

– Ему надо читать «Записки Крапоткина», да?

– А что?

– Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?

– А что?

Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!

– Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Надевайся, пойдем домой!

Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Крапоткина».

– Мотька! – кричит Яков. – Брось книгу!

– А вы, – говорит, – ее подымете?

– Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю. И как вы думаете, что ответил этот Мотя?

– Попробуй! А я отравлюсь. Это запросы называется!

– А, чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал – мать или Крапоткин?

– А что вы, – говорит Мотя, – думаете? Может, я, благодаря ему, второй раз на свете родился.

Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!

Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.

– Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять, а он уже Крапоткина читает.

– Ну что же?

– Яша! Ты знаешь что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.

Так Яша мне говорит:

– Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.

– Тебе сейчас – морда. Интеллигентный человек, а рассуждает как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!

Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше.

Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.

– Яша!

– А что?

– Знаешь что? Нашего ребенка нужно отвлечь.

– Ой, какая ты умная – отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?

– Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда это идеал!.. Он ребенок живой – его чем-нибудь другим заинтересовать нужно... Нехай он влюбится – или что?

– Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?

– Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?

– Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.

– Что ты крутишь? Что ты мне крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это крапоткинское дитё, а не твое? Такой большой дурак и не может мальчика развлекать.

Так пошел он к Моте, стал крутить:

– Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдишь. Я ведь же тебя люблю – ты такой бледненький.

Ну, Мотька туда-сюда – стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.

– Хороший ребенок! Книжку читать – ноги не болят, а с отцом пройтись – откуда ноги взялись. Надевай картузик, Мотенька, ну же!

Похныкал мой Мотенька, покапризничал – пошел с папой.

Они только за двери – я сейчас же к нему в ящик... Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было – не понимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?... И Крапоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины – прямо пороховой

склад. Эрфуртских программ – так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!

Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.

В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.

– Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!

Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать – так скандал выходит на всю улицу.

– Что ты кричишь, как дурак, – говорит Яков. – От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.

– Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!

– Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору – будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг.

– Потому только, – говорит Мотя, – и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.

Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.

– Ну что, Мотя? – спрашиваю. – Как твои дела?

– Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форе кончать в последнем шаре? Конечно же, он выигрывает. Я не успею подойти к бильярду, как у него партия сделана.

Ну, утром встали они, Мотя и говорит:

– Папаша, хочешь контру?

– А почему нет?

Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.

Раньше у него только и слышишь: «Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала...»

А теперь такие хорошие русские слова: «Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер...» Прямо сердце радовалось.

Ну, пришли они в двенадцать часов ночи – оба веселые, легли спать.

Пиджаки в мелу, взяла я почистить – что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа! Хе-хе! После Эрфуртской программы это,

знаете, недурно. Бог таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!

Ну, так у них так и пошло: сегодня биллиард, завтра биллиард и послезавтра – тоже биллиард.

– Ну, – говорю я как-то, – слава Богу, Яша... Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой магазин забросил.

– Рано, – говорит Яша. – Еще он еще вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.

Ну, рано так рано.

Уже они кинематограф забросили, уже программки цирка у них в кармане.

Еще проходит неделя – кажется, довольно, мальчик отвлекся.

– Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?

– Еще не совсем хорошо, – говорит Яша, – подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!

Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана – ужасно бойкий этот Яша оказался...

– Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.

– Сегодня, – говорит Яша, – нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.

Сегодня одному человечку, завтра другому человечку... Вижу я, Яков мой крутить начинает.

А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.

– Где вы были, шарлатаны?

– У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.

Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.

– Я, – говорит Яша, – спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.

Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки – черепаховая шпилька, а у Яши – черный ажурный чулок.

Это тоже дождик?!

То Эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.

– Яша! Это что значит?
– Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?
– Где же ты его взял?
– У коммивояжера для образца.
– А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?
– Это тоже для образца.
– Что ты крутишь? Что ты мне крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!

И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за биллиардом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за биллиардом, а ночью с Мотькой по шантанам бегают. Такая дружба, будто черт с веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем исчез! Приедет переменить воротничок – и опять назад.

Наш еврейский бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.

Уже Мотька отца на биллиарде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.

И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащут, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж они крутят, уж они крутят...

* * *

Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить... Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной Эфуртской программы или Крапоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы... Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного... А тому старому ослу – сплошное ему горе – даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти...

Мать

I

Так как нас было только трое: я, жена и прислуга, а дачу жена наняла довольно большую, то одна комната – маленькая угловая – осталась пустой.

Я хотел обратить эту комнату в кабинет, но жена отсоветовала.

– Зачем тебе? Летом ты почти не занимаешься, ничего не пишешь, а если что-нибудь понадобится – письмо, телеграмму или записку, – это можно написать в спальне.

– Да зачем же этой комнате пустовать?

– У меня есть мысль: давай сдадим ее.

– Кому? – тревожно спросил я. – Женщине? Это будет возня, капризы, горячие утюги... Мужчине? Он, пожалуй, каналья, начнет за тобой ухаживать... А ты знаешь – взгляды мои на этот счет определенные...

– Что ты, милый! Ни мужчина, ни женщина в этой клетушке не уместится. Нам нужно взять мальчика или девочку. Я так люблю детей...

Мы оба давно мечтали о детях, но детей у нас, как назло, не было. То есть у меня где-то ребенок был, однако жена в нем не была совершенно заинтересована.

Поэтому мы жили скромно и мирно вдвоем, и лишь изредка в наших душах взметалась буря, и щемила нас тоска, когда мы встречали какую-нибудь няньку, влекущую колясочку, занятую толстым краснощеким ребенком.

О дети! Цветы придорожные, украшающие счастливым тяжелый путь горькой жизни... Почему вы так капризны и избегаете одних, принося радость другим?

– Ты права, милая, – сказал я, закусив губы, так как сердце мое больно ущемила тоска. – Ты права. Пусть это будет не наше дитя, но оно скрасит нам несколько месяцев одиночества.

В тот же день я поехал в город и сдал в газету объявление:

«Молодая бездетная чета, живущая на даче в превосходной здоровой местности, имеет лишнюю комнату, которую и предлагает мальчику или девочке, не имеющим возможности жить на даче с родителями. Условия – тридцать рублей на всем готовом. Любовное отношение, внимательный уход, вкусная, обильная пища. Адрес...»

Через три дня я получил ответ:

«Милостивые государи!

Я спешу откликнуться на ваше милое объявление. Не возьмете ли вы моего малютку Павлика, который в этом году лишен возможности подышать и порезвиться на свежем воздухе, так как дела задержат меня в городе на все лето. А свежий воздух так необходим бедному крошке. Он мальчик кроткий, не капризный и забот вам не доставит. Надеюсь, что и у вас его обижать не станут.

С уважением к вам Н. Завидонская».

В тот же день я телеграфировал:

«Согласен. Присылайте или привозите милого Павлика. Ждем».

II

Целое утро провели мы в хлопотах, устраивая маленькому гостю его гнездышко. Я купил кровать, поставил у окна столик, развесил по стенам картинки, пол устлал ковром – и комнатка приняла прекрасный, сверкающий вид.

В обед получилась телеграмма:

«Встречайте сегодня семичасовым. Сожалею, сама быть не могу; его привезет няня. Если ночью будет спать беспокойно, ничего – это от зубов. Ваша Завидонская».

Прочтя телеграмму, я свистнул.

– Э, черт возьми... Что это значит – от зубов? Если у этого парня прорезываются зубы, хороши мы будем. Он проорет целую ночь. Экая жалость, что мы не указали желаемого нам возраста. Я думал – мальчишка 8 —10 лет, но если это годовалый младенец... благодарю покорно-с!

– Вот видишь! – с упреком сказала жена. – А ты купил ему кровать чуть не в два аршина длины. Как же его положить туда? Он свалится...

– Наплевать! – цинично сказал я (я уже стал разочаровываться в нашей затее). – Можно его веревками к кровати привязать. Но если этот чертенок будет орать...

Жена гневно сверкнула глазами.

– У тебя нет сердца! Не беспокойся... Если малютка станет плакать – я успокою его. Прижму к груди и тихотихо укачаю...

На жениной реснице повисла слезинка. Я задумчиво покачал головой и молча вышел.

К семи часам мы, приказав прислуге согреть молока, были уже на станции.

Гремя и стуча, подкатил поезд. Станция была крохотная, и пассажиров вышло из вагонов немного: священник, девица с саквояжем, какой-то парень с жилистой шеей и угловатыми движениями и толстая старуха с клеткой, в которой прыгала канарейка.

– Где же наш Павлик? – удивленно спросила жена, когда поезд засвистел и помчался дальше. – Значит, он не приехал? Гм... И няньки нет.

– А может, нянька вон та, – робко указал я, – с саквояжем?

– Что ты! А где же в таком случае Павлик?

– Может... она его... в сак... вояже?

– Не говори глупостей. Что это тебе, котенок, что ли? Толстая женщина с канарейкой, озираясь, подошла к нам и спросила:

– Не вы ли Павлика ждете?

– Мы, мы, – подхватила жена. – А что с ним? Уж не захворал ли он?

– Да вот же он!

– Где?

– Да вот же! Павлик, пойдя сюда, поздоровайся с господами.

Парень с жилистой шеей обернулся, подошел к нам, лениво переваливаясь на ходу, выплюнул громадную папиросу из левого угла рта и сказал надтреснутым, густым голосом:

– Драздуйде! Мама просила вам кланяться. Жена побледнела. Я сурово спросил:

– Это вы... Павлик?

– Э? Я. Да вы не бойтесь. Я денежки-то вперед за месяц привез. Маменька просила передать. Вот тут тридцать рублей. Только двух рублей не хватает. Я в городе подзакусил в буфете на станции да вот папиросок купил... Хи-хи...

– Нянька! – строго зашептал я, отведя в сторону толстую женщину. – Что это за безобразие? Какой это мальчик? Если я с таким мальчиком в лесу встречу, я ему безо всякого разговора сам отдам и деньги, и часы. Разве такие мальчики бывают?

Нянька умильно посмотрела мне в лицо и возразила:

– Да ведь он еще такое дитя... Совсем ребенок...

– Сколько ему? – отрывисто спросил я.

– Девятнадцатый годочек.

– Какого же дьявола его мать писала, что он от зубов спит беспокойно? Я думал, у него зубы режутся.

– Где там! Уже прорезались, – успокоительно сказала старуха. – А только у него часто зубы болят. Вы уж его не обижайте.

– Что вы! Посмею ли я, – прошептал я, в ужасе поглядывая на его могучие плечи. – Пусть уж месяц живет. А потом уж вы его ради Бога заберите...

– Ну, прощай, Павлик, – сказала нянька, целуя парня. – Мой поезд идет. Веди себя хорошо, не огорчай добрых господ, не простужайся. Смотрите, барыня, чтобы он налегке не выскакивал из дому; оно хотя время и летнее, да не мешает одеваться потеплее. Да... вот тебе, Павлик, канареечка. Повесь ее от старой няньки на память – пусть тебе поет... Прощайте, добрые господа. До свиданьяца.

III

Молча втроем – жена, я и наш питомец – побрели мы на дачу.

По дороге Павлик разговорился. Выражался он очень веско, определенно.

– На кой дьявол эта старушенция навязала мне канарейку? – прорычал он. – Брошу-ка я ее.

И с младенческим простодушием он не раздумывая размахнулся и забросил клетку с птицей в кусты.

– Зачем же птицу мучить? – возразила жена. – Выпустите ее лучше.

– Вы думаете? В самом деле – черт с ней.

Павлик поднял клетку, поискал неуклюжими пальцами дверцу и, не найдя ее, легким движением рук разодрал проволочную клетку на две части. Канарейка упала на дорогу и, подпрыгнув, улетела.

Мы молча зашагали дальше.

– А рыба в реке здесь есть? – спросил вдруг Павлик.

– Вы любите ловить рыбу?

Он неожиданно схватился руками за бока и захохотал.

– На сковородке люблю ловить! Я мастер есть рыбов.

Когда мы подходили к дому, он снова прервал молчание и спросил:

– И лес есть? И грибы есть?

– Собирать хотите?

– Кого-о? Тут девицы невинные должны, по-моему, за грибами шататься. Ха-ха!..

И снова он разразился хохотом.

Мы усадили его в саду, попросили минутку подождать, а сами вошли в дом. Жена заплакала:

– Что же это такое?

– Придумала! – злобно сказал я. – Ребеночка иметь захотелось?..

На груди своей его собиралась укачивать, если зубки заболят? Пойди-ка... укачай его...

– Куда же мы его денем? – спросила практичная жена, утирая слезы. – Ведь на той кровати, если его и пополам сложить, он не уместится.

– Уступлю ему свою комнату, – мрачно сказал я. – А сам как-нибудь тут... на полу буду... или к тебе перейду...

– А вот я ему купила одеяльце... Другого-то нет.

– Отдай ему вместо носового платка. А укрывается пусть ковром. Ничего... не подохнет.

Вошла прислуга.

– Я молочко-то разогрела...

– Спасибо, – сказал я. – Ты коньяку лучше к ужину подай.

У открытого окна показался Павлик.

– Это здорово – коньяк. Башковитый вы парень. А котлеты будут?

– Будут.

– А рыба будет?

– Будет.

– Здорово. Значит, мы сегодня двинем для ради первого знакомства.

– Вы можете двигать, – сухо сказала жена, – а ему я не позволю.

IV

На другой день пришло письмо от матери Павлика:

«Прошу сообщить мне, дорогие друзья, как живется у вас Павлику... Я очень беспокоюсь (он у меня один ведь), но приехать навестить его пока не могу. Здоров ли он? Как аппетит? Вы не смущайтесь, если он немного мешковат и застенчив... Он чужих боится, а тем более мужчин. К женщинам он идет скорее, потому что более привык, так как рос в женском обществе. Не надо его особенно кутать, но и без всего его не пускайте. У детей такая нежная организация, что и сам не знаешь, откуда что появляется. Пьет ли он молоко?

С уважением к вам Н. Завидонская».

В тот же вечер я убедился, что мать Павлика была права: малютка «шел к женщинам скорее, чем к мужчинам». Когда я зашел за горячей водой на кухню, мне прежде всего бросилась в глаза массивная фигура Павлика. Он сидел, держа на коленях прислугу Настю, и, обвив руками Настину талию, взасос целовал ее шею и грудь. От этого Настя ежилась, взвизгивала и смеялась.

– Что ты делаешь? – бешено вскричал я. – Павлик! Убирайся отсюда!

Он выпучил глаза, всплеснул руками и захохотал.

– Вот оно что... Хо-хо! Не знал-с, не знал-с.

– Чего вы не знали? – грубо спросил я.

– Ревнуете-с? А еще женатый...

– Уходите отсюда и никогда больше не шатайтесь в кухне.

Вечером я писал его матери:

«Павлик ваш здоров, но скучает. Мы, признаться, не знали, что он такой крошка, иначе бы не взяли его к себе. Ведь оказалось, что Павлик ваш совсем младенец и даже только недавно отнятый от груди (сегодня мною); лучше бы его взять обратно, а? Мы бы и деньги вернули. Тем более что от молока он отказывается, а молоко с коньяком пьет постольку, поскольку в нем коньяк. Appetit у него неважный... Вчера за весь день съел только гуся, двух жареных судаков и малюсенький бочоночек малосольных огурцов. Взяли бы вы его, а?»

Мать Павлика ответила телеграммой.

«Неужели трудно подержать мальчика до конца месяца? По тону вашего письма вижу, что вы чем-то недовольны. Странно... Если же он застенчивый ребенок, то это со временем пройдет. Я рада, что аппетит его неплох. Не скучает ли он по маме?»

Я пошел к «застенчивому ребенку». «Застенчивый ребенок» сидел в своей комнате, плавая в облаке табачного дыма, и доканчивал бутылку украденного им из буфета коньяку.

– Павлик! – сказал я. – Мама спрашивает: не скучаете ли вы по ней?

Он посмотрел на меня свинцовым взглядом:

– Какая мама?

– Да ваша же.

– А ну ее к черту!

– За что ж вы ее так?

– Дура! Куда она меня прислала? Тоска, чепуха. Девчоночек нет хороших. Настю – не трогай, того не трогай, этого не трогай... Другой бы давно уже за вашей женой приударил, однако я этого не делаю. Я, братец мой, товарищ хороший... Другой давно бы уже... Выпей, братец, со мной, черт с ними...

Я помолчал немного, размышляя.

– Ладно. Я пойду еще коньяку принесу. Выпьем, Павлик, выпьем, малютка.

Я принес свежую бутылку.

– А вот стакан ты, Павлик, сразу не выпьешь. Он улыбнулся:

– Выпью!

Действительно, он выпил.

– А другой не выпьешь?

– Вот дурак-то. Выпью!

– Ну ладно. Умница. Теперь третий попробуй. Ну что? Вкусно? Что? Спать хочешь? Ну спи, спи, проклятый малютка. Будешь ты у меня знать...

* * *

Я притащил с чердака огромную бельевую корзину, завернул Павлика в простыню и, согнув его надвое, засунул в корзину.

На голову ему положил записку:

«Прошу добрых людей усыновить бедного малютку. Бог не оставит вас. Крещен. Зовут Павликом».

Теперь этот несчастный подкидыш лежит в пустом вагоне товарного поезда и едет куда-то далеко-далеко на юг.

Боже, защитник слабых!.. Сохрани малютку...

Хвост женщины

Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд – этакий металлический цилиндрик с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндрик, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая»...

Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три и то – неполных: или руки не будет хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.

Страшная штука – женщина, и обращаться с ней нужно как с ручной гранатой.

* * *

Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья – эти четыре комнаты, при условии, если в них совет гнездо Елена Александровна.

– О чем вы задумались? – тихо спросила она.

– Кажется, что я тебя люблю, – радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. – А... ты?..

Как-то так случилось, что она меня поцеловала – это было вполне подходящим, уместным ответом.

– О чем же ты все-таки задумался? – спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.

– Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня, чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.

– Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?

– Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь – с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.

– Послушай... но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.

– Ребенок... Ах, да, ребенок!.. Кажется, Марусей зовут?

– Марусей.

– Хорошее имя. Такое... звучное! Маруся. Как это Пушкин сказал? «И нет красавицы, Марии равной»... Очень славные стишки.

– Так вот... Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.

– Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?

– Нет, отдаст.

– Как же это так? – кротко упрекнул я. – Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери и те...

– Нет, он отдаст. Я знаю.

– Нехорошо, плохо. А может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?

– Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.

– Ты думаешь – лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.

– Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она, – вот и все.

– Ага. Значит, в другой курить?

– Ну да. Или в третьей.

– Или в третьей. Верно. Ну, что ж... – Я глубоко вздохнул. – Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое

гнездышко.

Две нежные руки ласковым кольцом обвилились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо – уселись пять женщин.

* * *

Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, и испуганно зашептал:

– Послушай, Лена... Там кто-то сидит.

– Где сидит?

– А вот там, в столовой.

– Так это Маруся, вероятно, приехала.

– Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.

– Глупый, – засмеялась Елена Александровна. – Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.

– Ня... ня?... Какая ня... ня? Зачем ня... ня?

– Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?

– Ах, да... действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.

– Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга – такой ужас...

– Няня, значит?

– Няня.

– Сидит и что-то размешивает ложечкой.

– Кашку изготовила.

– Кашку?

– Ну, да чего ты так взбудоражился?

– Взбудоражился?

– Какой у тебя странный вид.

– Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал... Хи-хи...

Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.

Выбежал оттуда испуганный.

– Лена!!!

– Что ты? Что случилось?

– Там... В спальне... Тоже какая-то худая, черная... стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка... Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.

– Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.

– Ульяша. Там. Служила. Зачем?

– Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди сам.

– Хорошо. Посудю. Нет, и... что я хотел сказать?.. Ульяша?

– Да.

– Хорошее имя. Пышное такое, Ульяния. Хи-хи... Служить, значит, будет? Так... Послушай: а что же нянька?

– Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.

– Ага! Ну-ну.

Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.

– Пойду на кухню. Единственная свободная комната.

* * *

– Лена!!!

– Господи... Что там еще? Пожар?

– Тоже сидит!

– Кто сидит? Где сидит?

– Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.

– Кто? Что за вздор?!

– Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-богу.

– На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, там сидит.

– Николаевна? Ага... Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.

– Нет, ты решительное дитя!

– Решительное? Нет, нерешительное. Послушай, в ресторанчик бы...

– Кто? Ты и я? Хорошо-с. А нянюку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?

– Катя? Хорошее имя – Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи...

* * *

Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприятный, загнанный, вызывавший слезы.

Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором... Убежать куданибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете – Лена, в столовой – няня, в спальне – Маруся, в гостиной – Ульяша, в кухне – Николаевна. «Гнездышко»... Хотел я свить гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя вон тоже приедет. Корабль сразу оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..

– Ну что, брат Никифор! – робко пробормотал я непослушным языком.

– Что прикажете? – вздохнул Никифор.

– Ну вот, брат, и устроились.

– Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.

– Никифор, Никифор... Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвиштишь, как птица, и порхнешь к другому, холостому барину. Заживете оба на славу. А я...

Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.

Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.

* * *

Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, бойко стучащую каблучками по тротуару, вы думаете: «Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».

А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только женщину – бледный, призрачный, тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна... Матушка, матушка, пожалей своего бедного сына!..

* * *

Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.

Возьмите ее, взмахните и подбросьте – на клочки размечется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!

О голове я уже и не говорю.

Новогодний тост (Монолог)

– Господа!

Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: поздравляю, мол, вас с Новым годом и желаю, чтобы в Новом году было все новое!

Так сказал предыдущий оратор.

Мысль, конечно, не новая... (Саня, налей мне, я хочу говорить.) Не новая. Скажу более: мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истасканна, как стоптанный башмак, – да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? (Саня, налей мне еще – я буду говорить. Я хочу говорить.) И, вместе с тем, скажу я: почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой – да простит мне предыдущий оратор – мысли, если эта мысль верна?! Что? Очень просто. (Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь.) То-то и оно.

Я и говорю: пусть же в Новом году будет все новое, все молодое, все свежее. (Саня! Ну?) Конечно, всего не омолодишь... Вон у Сергея Христофорыча лысина во всю голову – что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какое-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает.

Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? (Спасибо, Саня. Осторожнее... На скатерть!) Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Мелетии Семеновны за пазухой, а у предыдущего оратора вата, может быть, в голове – борись-ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я должен нынче высказать все.)

Господа!

Да здравствует новое! Вот, например, у меня на салфетке дыра... К чему она? Куда она? Я прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя! Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки – и что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. К чему же тогда салфетка? Фикция! Оптический обман... (Саня, Саня! Ты совсем не занимаешься физическим трудом – налей!) Мне

вспомнился, господа, презабавный случай с одним английским пуделем... Нет, впрочем, это не то... Гм!..

Предыдущий оратор – глуп, но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор! «Все, – говорит, – в Новом году должно быть новое...» И верно!

У вас, например, – как вас там, Агния Львовна, что ли?.. – есть дети. Так? Что же это за дети? Это старые дети... Верно я говорю? К черту же их! В воду надо, в мешок, как котят. Надо новых. (Саня, не надо смеяться; надо плакать. Слезы очищают. Эх, господа!)

Я вам расскажу такую историю. У одного англичанина был пудель; и вот этот пудель... Впрочем, пардон – тут дамы... Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все, все, все, все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, но, господа! Ведь и устами паралитиков иногда плаголет истина. (Саша, Саша!..) Все новое!

Марья Кондратьевна! Я уже давно замечаю, что у вас – не при муже будет сказано – один и тот же возлюбленный. Второй год... Боже, Боже! Переменить! Пардон, пардон... Я ведь себя не предлагаю! Я говорю лишь ака... академически. Представьте себе: у одного англичанина была собака, пудель... Впрочем, к черту собаку... Чего она тут путается? (Саша, прогони!) Господа, не надо собак... Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий, несчастненький человек – его пожалеть надо. Саша, передай ему от меня копеечку.

Но сказано этим мозгляком хорошо! Верно! Все новое! Все. Простите, сударыня. Я, кажется, облил вам платье? Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая... Опять этот пудель? Да прогоните же, господа, ради Бога, собаку! Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно!

Прекратим же все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. (Спасибо, спасибо, Саня... Там уже край стакана – больше не войдет.) Все новое! Между нами, господа, есть взяточники, шулера – бросим это! Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя... Какой пудель?! Опять эта проклятая собака тут?! Да прогоните же, черт побери!! Предыдущий оратор, свинья – сделайся же ты, наконец, оратор, человеком! Начнем, наконец! Вот глядите на меня: у меня в руках бутылка старого вина, напротив меня висит

старинная картина... Что же я делаю? Р-р-раз! Вот теперь после этого и должно быть: новое вино, новая картина!.. Что-о? Саня, Саня! Не, допускай! Не допускай, Саня!

Я еще про пуделя хочу. У одного англичанина...

Эх! Вывели... Вывели, как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти!

Грустно... чрезвычайно грустно! Ну, что ж... Пророков всегда гнали...

Роковой Воздуходуев

Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:

– С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!

– А почему же вас не познакомить? – спросил я удивленно.

Воздуходуев опустил в кресло и долго сидел так, с убитым видом.

– Эх! – простонал он. – Жалко женщину.

– Почему?

– Ведь ты ее любишь?

– Ну... конечно.

– И она тебя?

– Я думаю.

– Что ж ты теперь наделал!

– А что?!

– Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно? И так в мире много слез и страданий... Неужели еще добавлять надо?

– Бог знает, что ты говоришь, – нервно сказал я. – Какие страдания?

– Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и... что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомить нас...

– Да что с ней случится?!!

– Влюбится.

– В кого?

Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня:

– Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.

– Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?

Удивился он:

– Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?

– Ну, может быть, она и будет исключением.

Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль.

– Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением... Но – увы! Исключения попадают только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.

– Пожалел бы ты ее, – попросил я. Он пожал плечами.

– Зачем? Оттого, что я ее пожалею, чувства ее ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!

– Но, может быть... Если вы не будете встречаться...

– Да ведь она меня уже видела?

– Видела.

– Ну, так при чем тут «не встречаться»? Лицо мое вытянулось.

– Действительно... Втяпались мы в историю.

– Я ж говорю тебе!

Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:

– Воздуходуев!

– Ну?

– Если не ее, то меня пожалей.

В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.

– Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, а раб своего обаяния, своего успеха. Это – тяжелая цепь каторжника, и я должен влачить ее до самой смерти.

– Воздуходуев! Пожалей!

В голосе его сверкнул металл:

– Н-нет!

В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка с раз навсегда удивленными серыми глазами.

– Анна Лаврентьевна! – встал ей навстречу Воздуходуев. – Отчего вы не пришли ко мне?

– Я? К вам? Зачем?

– Женщина не должна спрашивать «Зачем?». Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.

– Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того ни с сего?

– Слабеет, – шепнул мне Воздуходуев. – Последние усилия перед сдачей.

И отчеканил ей жестким, металлическим тоном:

– Я живу: Старомосковская, семь. Завтра в три четверти девятого. Слышите?

Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздуходуева, на вино, которое мы пили, пожалала плечами и вышла из комнаты.

– Видал? – нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев. – Еще одна. И мне жалко ее. Барышня, дочь хороших родителей... А вот поди ж ты!

– Неужели придет?!

– Она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но по мере приближения назначенного часа роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, семь» – эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу – и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.

– Воздуходуев! Ты безжалостен.

– Что ж делать. Мне ее жаль, но... Я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. – Он горько, надтреснуто засмеялся. – Аттила, бич Божий.

– Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?

– Отчасти наружность, – задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям. – Ну, лицо, конечно, взгляд.

– У тебя синее лицо, – заметил я с оттенком почтительного удивления.

– Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже надоедает.

– Бритье?

– Женщины.

– Воздуходуев!.. Ну не надо губить мою жену, ну пожалуйста.

– Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Пстой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.

Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом, суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять, – и тоска щемила мое сердце.

Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.

– Ах! – вздохнул я наконец. – Если бы я пользовался таким успехом...

Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело – с каждым выпитым стаканом.

– Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?

– Ну конечно!

– У женщин?

– Да.

– Не пожелал бы я тебе этого.

– Беспечно?

Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову ко мне на грудь и после тяжелой паузы сказал совершенно неожиданно:

– Мой успех у женщин! Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любовью... Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств... Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, а она послушала меня, послушала да – хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак: а вдруг, мол, явится.

– Никто не является? – сочувственно спросил я.

– Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном «Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка... И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод – а вот поди ж ты! Не везет, умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно – прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что вы, мол, едва только прикоснетесь к руке – я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти. А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-богу. И как странно: только что

я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, а она сама вдруг: «Я, – говорит, – к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу...» Смешные они все. Давеча и твоя жена. «От вас, – говорит, – исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует...»

После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду, льнущих к нему женщин...

С некоторыми людьми вино делает чудеса.

Семь часов вечера

Иногда мы, большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того, ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться от того, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полутемной комнате.

Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.

Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями – тихий, покорный и бесконечно одинокий.

Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше – и от того, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и от того, что улица вдруг оплащается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам:

«– ...А что же Спирька на это сказал?»

– Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который...»

И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться? И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке... Кто он? Чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый, краснорукий гимназист выпускного класса?

Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.

Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня:

«— Нет, этого никогда не будет, Анисим Иваныч...

— Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать...

— Если бы я еще не знала, что вас...» И прошли.

Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли... Жизнь идет стороной; вы почти как в могиле.

Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:

«— Ты слишком мрачно глядишь на вещи.

— Это я-то?! Ну, знаешь ли... Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что...»

Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.

И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе:

— Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.

* * *

Я ли один переживаю это или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?

О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?

Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рокочет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах...

Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт... Плакать хочется.

Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина, на что он мне – у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сын.

Боже ж ты мой, как обидно!

В передней звонок.

О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?

Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.

– Вот вы какой! – говорит она, внимательно меня оглядывая. – Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.

Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).

– Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, – усмехаюсь я.

– Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?

– А разве мои рассказы веселые?

– Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеешься.

– Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.

– Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете...

Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов и голосов неведомых пешеходов, и рояля, который тоже притих, будто сообразив, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.

– Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю...

– Вы, право, избалуете меня... Ну, какой же рассказ запомнился вам?

– Я как-то не запоминаю заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним и невеста тоже... отказалась выйти за него замуж.

– Позвольте, сударыня... Да у меня нет такого рассказа.

– Быть не может!

– Уверяю вас.

– Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.

– Сударыня! У меня и такого рассказа нет!

– Вы меня просто удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?

– Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.

– Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись...

– Простите, но этот рассказ не смешной; это очень печальная история.

– Да? А мы с сестрой смеялись...

– Напрасно. Мы молчим.

– Я вам сейчас не помешала?

– Нет.

– Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..

– Нет, что вы! Ничего.

– И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..

– Почему же?..

– Вам нравится моя наружность?

– Хорошая наружность.

– Нет, серьезно! Или вы просто из вежливости говорите?

– Зачем же из вежливости?

– Ну вот, вы писатель... Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?

– Отчего же.

- А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?
- Зачем же всем.
- Я вас видела недавно в театре, и вы мне безумно понравились.

Я тогда же решила с вами познакомиться.

- Спасибо.
- В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.
- Сейчас. В каком театре вы меня видели?
- Это не важно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?
- Нет.
- Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо... Вы какой-то... особенный.
- Да, на это меня взять, – уныло соглашаюсь я.
- Я знакома еще и с другими писателями... С Белясовым.
- Не знаю Белясова.
- Seriously? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует.

Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.

- Белясов-то? Конечно, врет.

– Ну, вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?

- Можно.

– Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду... Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела...

* * *

Ушла.

И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?

Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки, и одиночество, – уже грозное и суровое, как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб, – осыпалось и покрыло меня.

Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:

– Эх, напьюсь же я нынче!

– С чего это такое?

– Манька опять к своему слесарю побежала. Прошли. Тишина. Вечер. Рояль.

Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит. Зарезаться можно.

Пылесос

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело – с дураком или мошенником? – смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия... – кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

Мошенник – математика, повинующаяся известным законам, дурак – лотерея, которая никаким законам и системам не повинует.

Самый типичный дурак – это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А вдумайтесь – так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил, и пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью – втрое дешевле... Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу – на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели, – курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому – долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные

опилки, – как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень... момент – и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним – и уже сверкает белизной грязное, загаженное место... Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

– А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну...

– Каким образом?

– Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я – не дурак ведь – помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

– Кто же вас просил говорить об этом?

– Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава Богу, хе-хе... Не выдал вас.

Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.

Я глядел на его работу и думал:

«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился и дышать сделалось бы легче».

Эта мысль – придумать пылесос для дураков – гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался...

* * *

– Что я с ними буду делать, ты подумай! – плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. – На что

они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город – за двести верст.

Я потер рукой голову.

– Вот что... Садись за стол и пиши объявление в газеты...

Он сел.

– Ну?

– Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва – песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках – дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».

– Господи Иисусе, – ахнул мой друг. – Кто же может откликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.

– Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля – это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи... То-то хорошо дышать будет.

– Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко...

– Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

– Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

– Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности...» Есть?

– Есть. Да только уж и не знаю – выйдет ли что-нибудь из этого?

* * *

Вышло.

В «Контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпались письменные запросы. Спрашивали:

«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, посырее,

потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»

Один господин писал:

«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение „лихорадочная местность“? Не в смысле ли это „лихорадочной деятельности в этой местности“?»

Дама писала:

«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».

* * *

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.

Пылесос работал всюду.

Фокус великого вино

Отдохнем от жизни. Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом – на бутылочке-то пыли сколькоросло – вековая пыль, благородная, – а теперь слушайте...

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину.

Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшись от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку у скалы – совершенно сухой и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и наконец лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения папироса делалась все больше и больше и наконец стала совсем свежей, только что закуреной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся – и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько плотков красного вина и принялся вилок таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню – жарить... Повар положил его на сковородку,

потом снял, сырого утыкал перьями, поводил ножом по горлу, отчего цыпленок ожил и потом побежал по двору.

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернуть ручку назад – и пошло-поехало...

Передо мной – бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг – перо пошло в обратную сторону – будто соскабливая написанное, и, когда передо мной – чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, – селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали и – укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца – давно пора, – вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину – вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали

они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покати́л себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова паука-кровопийцы об объявлении войны не вылетают из уст, а, наоборот, плотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетает в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радостях... С

манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» – восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили...

.....
Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле – почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

Люди, близкие к населению

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:

– Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот я на днях был в Эрмитаже, такие там есть картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Теннисры, голландцы и прочее в этом роде.

Секретарь подумал и сказал:

– Да, живопись – приятное времяпрепровождение.

– Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...

– Гуно – хороший композитор, – подтвердил секретарь. – Вообще, музыка – увлекательное занятие.

– А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

И я понял в одно мгновенье...

Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

– Да-с. Стихи чрезвычайно приятные и освежительны для ума.

– А науки!.. – совсем разнежась, прошептало его превосходительство. – Климатология, техника, гидрография... Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах?

– Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в неизвестности.

– Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

– Некому поручить, ваше превосходительство!

– Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

– Полиция, ваше превосходительство!

– И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова

закружится.

– О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

– Почему вторым? Я могу быть и первым!

– Первый уже был. При Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцвели Лафонтен, Мольер и др.

– А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.

* * *

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

«2 февраля 1916 г. Второе делопроизводство департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, – немедленно доводить до вашего сведения, и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».

Очнулся.

– Позвать Илью Ильича! Здравствуйтесь, Илья Ильич! Я тут получил одно предписание: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными

предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

– Слушаю-с.

* * *

– Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

– Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и, по разыскании и выяснении их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете?

– Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

* * *

– Становые пристава все в сборе?

– Все, ваше высококордие!

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:

– До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

* * *

Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

– Ребята! До сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством – музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело

очень серьезное и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

– Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

– Ну, вот то-то. Ступайте!

* * *

– Ты Иван Косолапов?

– Я, господин урядник!

– На гармонии, говорят, играешь?

– Это мы с нашим вдовольствием.

– А-а-а... «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!

– Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?

– Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас мерзавцев всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?

– Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава Богу, тоже не без понятия.

– А кто же у вас тут климатологией занимается?

– Надо быть Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.

– Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

* * *

– Ты – Кривой?

– Так точно.

– Климатологией занимался?

– Зачем мне? Слава Богу, жена есть, детки...

– Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?

– Так нешто я один. На лугу-то запрошное воскресенье все пели: Петрушка Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петрай...

– Стой, не тарихти! Дай записать... Эка, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу.

* * *

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения:

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запираательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».

* * *

Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена».

А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегариям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

О гробах, тараканах и пустых внутри бабах

Как-то давно-давно мне рассказали забавный анекдот... Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит:

– Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительства!

– Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники.

– Ну, так я ремесленник.

– Какой же ты ремесленник! Что ты умеешь делать?

– Уксус умею делать.

– Подумаешь, какое ремесло, – усмехнулся скептически государь, – и я умею делать уксус.

– И вы умеете? Ну, так вы тоже будете иметь право жительства!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты; настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли – не имеют права жительства.

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство «делать уксус» в той или другой форме – все-таки дает право на жизнь.

Вот мои встречи с такими «ремесленниками, имеющими право жительства», неунывающими, мужественными делателями «уксуса».

* * *

Они сидели на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом – бывший журналист, бывший поэт и бывш... чуть по привычке не сказал – бывшая сестра журналиста... Нет, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и тонкого шарма...

Всем трем я искренно обрадовался, и они обрадовались мне.

– Здорово, ребята! – приветствовал я эту тройку. – Что поделяете в Константинополе?

Все трое переплянули и засмеялись.

– Что мы поделываем... Да вы не поймете, если мы скажем...

– Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

– Я, например, – сказал журналист, – лежу в гробу.

– А я, – подхватил поэт, – хожу в женщине.

– А я, – деловито заявила журналистова сестра, – состою при зеленом таракане.

– Все три ремесла – довольно странные, – призадумался я. – Делать укус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?..

– Одна гадалка приняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

– А вот вы, который «ходит в женщине»? Каким ветром вас туда занесло?

– Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

– Поистине, – сказал я, – ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

– Смейтесь, смейтесь... Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе, – зеленые. И поэтому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

– Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья – при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

«Ой крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит...»

Обыкновенная женщина

Звали эту женщину – Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.

Вот какое представление вызывает у меня имя – Зоя. А может быть, все это потому, что носительница имени «Зоя» – была действительно такова по внешности.

Мы с ней жили вместе и, не могу сказать, чтобы жили плохо...

Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:

– Скажи, ты уважаешь меня? – Я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха отчасти утрированного, отчасти – настоящего.

– Чудак ты, человечина, – отвечал я ей, успокаивая. – На что тебе мое уважение? Ты бы ревела от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну, за что тебя уважать, скажи на милость?

– За что?

Она немного растерялась.

– Как за что? Ну за то, что я... гм! Порядочный человек. За то, что я к тебе хорошо отношусь... Ну, за то, что я... тебе нравлюсь.

– Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.

– Так ты меня любишь?

– Ну конечно.

– Значит, я лучше всех?

– Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай бог, если бы ты была лучше всех... Тогда все мужчины повлюблились бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу... Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.

Она опечалилась... Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:

– Вот тебе и раз... я этого от тебя не ожидала...

А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель – редкого зверька, и мне было смешно-смешно.

– Ну, посуди сама! Голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех... Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.

Она криво усмехнулась:

– Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный...

– Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек 35 лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?

– Господи ты мой. Господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.

– Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?

– Ты – глупый.

– Не скажу. Недалекий – пожалуй, но глупый – это уже крайность.

– Слушай, – прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне. – Я сказала тебе, какой ты...

– Ну?

– Теперь же скажи мне, какая я?

– Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое – следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти, хотелось бы, чтобы были поуже.

Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.

– Постой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с короткими ногами, с широкими ногтями – ты говоришь, что любишь меня?!!

Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.

А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.

И думал:

«Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?»

А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяясь головой о собственные, сложенные на спинке дивана руки:

– А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча, когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: Господи, как много между нами общего, хым... хым...

– Между нами – общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я – большой, толстый, сильный, ты маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что носите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно: упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом – погибну. Ну, что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину – и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично... Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.

Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза...

– Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном сродстве.

– Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину...

Ее глаза засверкали.

– Да?!! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и – знаешь ли ты это? – она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!

– Дитя ты мое неразумное, – засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени. – Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты – бедная логикой, обыкновенная женщина, – сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев – и я говорю об этом... А ты видела в паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами – и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.

– Ну, конечно, – удивилась она. – Как же можно говорить о том, что правило – десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.

Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова, – вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, – вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.

Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбывная жалость, которая сильнее любви, – затопила меня всего.

«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя... А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться – какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее Господи!)».

А она, постукивая каблукками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:

– Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой – и так легко тебя переспорить...

Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревяневшее сердце.

Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.

– Ой, оставь, – вдруг тихонько застонала она. – Больно.

– Что такое?!

– Вот видишь, какой ты большой и глупый... Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты... Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое... Ты доволен?

* * *

Я долго не мог опомниться.

Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:

– Слушай, и ты не боишься?

– Чего?..

– Да вот этого... ребенка... Ведь роды вообще опасная штука.

– Бояться твоего ребенка? – мягко, непривычно мягко усмехнулась она. – Что ты, опомнись... Ведь это же твой ребенок.

– Послушай... Можно еще устроить все это...

– Нет!

Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутивее:

– А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница...

– Почему?

– Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, – они бежали бы от женщин, как от чумы...

– Нет, – серьезно возразил я. – Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было – это факт.

– О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь – это будет превесело: нас было двое – станет трое.

Потом она долго, испытующе поглядела на меня:

– Скажи, ты меня не прогонишь? Я смутился:
– С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чемнибудь подобном?

– Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.

– Когда?

– Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне – прогоню-ка я ее.

Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких... Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга...»

– Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:

– Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики...

– Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..

– Ну, не надо плакать, – покровительственно хлопнула она меня по плечу. – Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.

Я глядел на нее и думал:

«Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».

– Ну, послушай... Ну, посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.

* * *

И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое – я и сын. Она умерла от родов.

Мне очень жалко ее.

Окружающие

Один человек решил жениться.

Мать.

– Я женюсь, – сказал он матери. Подумав немного, мать заплакала. Потом утерла слезы. Сказала:

– Деньгами много?

– Не знаю.

– Ну, хоть так, тряпками-то есть что-нибудь? Серебро тоже понадобится, посуда. А то потомхватишься – ни ложечки, ни салфеточки, ни тарелочки... Все покупать нужно. А купчишки теперь так дерут, что приступу ни к чему нет. Обстановку в гостиной, я думаю, переменить нужно, эта пообтрепалась так, что принять приличного человека стыдно. Перины есть? Пуховые? Не спрашивал?

И не спросила мать:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Любовница.

– Я женюсь, – сказал он любовнице. Любовница побледнела:

– А как же я?

– Ты постарайся меня забыть.

– Я отравлюсь.

– Если ты меня хоть немножко любишь – ты не сделаешь этого.

– Я? Тебя? Люблю? Ну, знаешь ли, милый!.. Кстати, ко мне сегодня Сергей Иванович три раза по телефону звонил. Думаю весной поехать с ним на Кавказ.

Помолчав, спросила:

– Что ж она... богатая?

– Кажется.

И с облегченным сердцем подумала: «Ну, значит, он меня оставляет из-за денег. Кажется, что это не так обидно».

И не спросила любовница:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Горничная.

– Я женюсь, – сказал он горничной.

– А как же я? Меня-то вы оставите? Или искать другое место?

– Почему же? Вы останетесь.

– Только имейте в виду, барин, что ежели вас двое, то жалование тоже другое. Во-первых, около женщины больше работы, а потом и мелкой стирки прибавится, то да сё. Не иначе, пять рублей прибавить нужно.

Даже в голову не пришло горничной задать своему барину простой человеческий вопрос:

– А любит вас ваша будущая жена?

Прохожий.

У прохожего было такое веселое, полупьяное, располагающее к себе лицо, что собиравшийся жениться человек улыбнулся прохожему и сказал:

– А я, знаете, женюсь.

– И дурак.

Растерялся собиравшийся жениться.

– То есть?

– Да уж будьте покойны.

И, нырнув в толпу, не догадался спросить этот прохожий:

– А любит вас ваша будущая жена?

Друг.

– Я женюсь, – сказал он своему другу.

– Вот тебе раз!

После некоторого молчания сказал друг:

– А как же я? Значит, нашей дружбе крышка?

– Почему же? Мы по-прежнему останемся друзьями. И только тут задал друг вопрос, который не задавал никто:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Взор человека, собиравшегося жениться, слегка затуманился.

– Не знаю. Думаю, что не особенно... Друг, что-то соображая, пожевал губами.

– Красивая?

– Очень.

– М-да... Н-да... Тогда конечно... В общем, я думаю: отчего бы тебе и не жениться?

– Я и женюсь.

– Женись, женись.

* * *

Холодно и неуютно живется нам на белом свете. Как тараканам за темным выступом остывшей печи.

Молодняк

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице, или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке – и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы – Мотька, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге – «знакоми домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта – они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия), умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем.

Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли. Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех – единодушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью с опасностью для фасада и тыла воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашиного отца – рыжебородого пьяницы – была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал, а так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас, на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий, красный,
Человек опасный...
Я на солнышке лежал.
Кверху бороду держал...

– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.

– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотька. – Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Чего там говорить – дело было беспроблемное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет дружно, взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил в наборщики в типографию «Электрическое усердие». Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия» – что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказалось вакансий в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним – об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он удачно «определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотыка постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотыки.

И вдруг получилось сведение, что Мотыка должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотыкина мать, и в этом «сохранении содержания» видела бедная женщина последний лавр в победном венке завоевателя мира Мотыки.

* * *

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотыку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

– Такой, говорят, франт, – горделиво закончил Шаша, – такой франт, что пусти – вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку – и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым делом потребовали Мотю.

Ответ был самый аристократический:

– Мотя не принимает.

– Как не принимает? – удивились мы. – Чего не принимает?

– Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

– Может быть, он нездоров?.. – попытался смягчить удар деликатный Шаша.

– Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы...

Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге...

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «Нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге впредь до выяснения не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, так униженно жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» – совсем как в романах.

– Ты куда? – спросил Шаша.

– В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

– А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

* * *

На другое утро – было солнечное воскресенье – Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей – и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первыми. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был действительно великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, пестрое, до крика элегантное, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов, он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце

цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравнивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом. Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки сиятельному другу:

– Мотья! Вот, брат, здорово!..

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – солидно кивнул головой Мотья и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

– Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

– Послушай, Мотья... – начал я с робким восторгом в глазах.

– Прежде всего, дорогие друзья, – внушительно и веско сказал Мотья. – Мы уже взрослые, и поэтому «Мотьяку» я считаю определенным «кельвыражансом»... хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч – так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здороваётся.оборот предприятия два миллиона. Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

– Пожалуйста, пожалуйста, – пробормотал Шаша. Стоял он согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину.

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

– Теперь опять стали носить цилиндры? – спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

– Да, носят, – снисходительно ответил Матвей Семеныч. – Двенадцать рублей.

– Славные брелочки. Подарки?

– Это еще не все. Часть дома. Все на кольцо не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь –

хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвей Семенович тоже тянет, что ему тоже не по себе... Но, наконец, он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, – и начал:

– Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие и вообще... детство это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, добился до какого-нибудь там лучшего общества, до интеллигенции, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубей рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего – один достиг, другой не достиг, но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, – все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особой фамильярности – я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение – вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен...

В этом месте Матвей Семенович взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

– О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желая здравствовать! Желая здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

* * *

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем.

Это были последние слезы детства. Теперь – засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотья был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, – он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, – почему же мы так убивались, потеряв Мотью?..

А ведь – вспомнишь – как мы были одинаковы, как три желудя на дубовой ветке, когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны.

Увы! Желуди одинаковые, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

Оккультные науки

предисловие

Большинство несведущих людей под словом оккультизм подразумевают столоверчение. Это не так.

Оккультизм очень сложная и хлопотливая вещь; это громадная область – от вызывания духов до получения, с помощью гипнотического внушения, наследства от совершенно постороннего человека.

Мы не хотим хвастаться своей ученостью, но должны для полноты указать на такую область оккультизма, как учение йогов.

Ошеломлять так ошеломлять.

Учение йогов разделяется на хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога и жнани-йога.

Все это изложено в книгах индусского мудреца, носящего немного сложную, но звучную фамилию: Рамачарака.

Наш товарищ по перу, Рамачарака, очень аккуратно и внимательно изложил принципы учения йогов, и если эти принципы сложны и запутанны, то не наш товарищ Рамачарака тому виной.

Наша задача скромнее задач Рамачараки – мы дадим только общую схему оккультных наук в сжатой форме. И если кто-нибудь, прочтя наш труд, сумеет вызвать духа – пусть он и разделяется с ним, как знает.

Глава I

из чего состоит человек

Средний читатель уверен, что все окружающие его состоят из мяса, костей, крови и мозга. О, как он глубоко заблуждается! Некоторые смотрят на человека еще примитивнее:

– Боже, как вы похудели: кожа да кости! Или:

– Как он растолстел: одно сало.

О, какой дикариный взгляд на сущность человека! Вот из чего состоит человек: 1) Тело как таковое.

2) Эфирное тело. 3) Астральное тело и 4) Мысленное тело.

1. Тело как таковое. – Для ознакомления с этим предметом лучше всего ощупать самого себя.

II. Двойник, или эфирное тело. – Это тело, после физического, – самое видное. Ледбитер говорит (вы, конечно, не знаете, кто такой Ледбитер, а мы знаем...), что «эфирный двойник» ясно виден ясновидящему – в виде светловатой массы пара, серо-красной, выходящей за пределы физического тела. Эта светловатая масса называется аурой. Имеется она даже у подрядчиков строительных работ, скаковых жокеев и клубных шулеров.

Когда человек здоров – аура его с легким голубоватым оттенком, в виде множества лучей, ровно расходящихся во все стороны. Но стоит человеку заболеть – лучи на заболевшей части тела становятся неправильными, пересекаются в беспорядке, поникают и перепутываются. В этом случае расчесывание перепутанной ауры гребенкой не рекомендуется.

III. Ланселен (его-то уж читатель знает) утверждает, что когда эфирное тело (двойник) отделяется от физического тела – оно всегда выходит с левой стороны, в уровень селезенки, под видом излучений. Каждый это может легко проверить на самом себе.

III. Астральное тело. – Оно тоньше и нежнее, чем эфирное. Чем человек умнее, интеллигентнее, тем его астральное тело нежнее.

Например, пишущему эти строки однажды пришлось увидеть свое астральное тело. И что же – он чуть не ослеп от блеска. Нежности оно было такой, что мясо цыпленка по сравнению с ним казалось куском чугуна.

Астральное тело, отделяясь от физического, по утверждению оккультистов, может появляться в других местах. Так, например, если ваше физическое тело занято на свидании с любимой женщиной, вы можете послать свое астральное тело в банкирскую контору для учета векселя или получения денег по чеку. Если же, возвратясь, астральное тело эти деньги зажилит, то, значит, оно где-нибудь материализовалось и пропило всю сумму в кабинете ресторана. При отделении астрального тела от физического физическое тело должно спать. Если же в ту комнату, где спит такое опустошенное тело, зайдет посторонний и начнет радостными криками будить спящего, –

астральное тело обязано сломя голову мчаться назад и, прибежав, моментально впрыгнуть в человека.

Только тогда человек делается полным человеком и имеет право проснуться.

Оккультисты утверждают, что если астральное тело почему-нибудь к моменту пробуждения не вернется, то спящий умирает. Вообразите же себе изумление и досаду астрального тела, когда оно, разогнавшись, прибежит домой и вместо теплого футляра наткнется на холодный труп. Разочарованное, оно пойдет бродить около других людей, ехидно поджидая случая, когда кто-нибудь отпустит свое астральное тело погулять по местам не столь отдаленным... Тогда осиротевшее астральное тело влезает в живого спящего и, свернувшись там клубочком, станет поджидать своего коллегу.

И когда тот прибежит, запыхавшись, и полезет в спящее тело, оттуда выплывет наш первый астрал и, пряча смущенное лицо, проворчит:

– Ну, куда лезешь? Не видишь – место занято.

Иногда доходит до тяжелой сцены, кончающейся дракой.

IV. Мысленное тело. – Определение его оккультистами не совсем вразумительно («Это – орудие души на плане мысли, когда она покинула астральное тело»).

Мысленное тело (говорит Анни Безант) образуется под влиянием мысли, в особенности если последняя благообразна и возвышенна. Мысленное тело – яйцеобразное.

У дураков это тело такое маленькое, что его почти не видно. Да и немудрено.

Глава II

проявление призрака

Призрак живых в древние времена назывался двутелесностью.

В своей книге «Cite de Dieu» святой Августин рассказывает, что «его отец, поевши у себя дома отравленного (?) сыра, лежал на постели в глубоком сне, и его не могли разбудить никаким способом... Спустя несколько дней он проснулся и рассказал о том, что испытывал во сне: он был лошадью и вместе с другими лошадьми возил солдатам

припасы, которые называют рецийскими, потому что доставляют их из Реции».

К сожалению, вопрос об этих метаморфозах не разработан. Человек, скажем, поел отравленного сыра и превратился в лошадь, возящую рецийские припасы... Спрашивается: в какое животное превратился бы он и что возил бы он, поев отравленного мяса, или разложившихся фруктов, или сгнившей рыбы? Может быть, рыба сделала бы его ослом, возящим донецкий антрацит, а мясо – слоном, несущим на лобастой голове канака с молоточком...

Много необъяснимого и загадочного на свете.

Тот же доктор Ш. Ланселен утверждает, что призраки живых существуют и отделить от тела спящего его эфирный двойник не так уж трудно. Он говорит, что сам проделывал это сотни раз. Его рассказ об этом дышит искренним простодушием и несокрушимой деловитостью.

«У меня, – говорит он, – есть несколько специальных субъектов, годных для раздвоения, и я произвожу с ними такие опыты: усаживаю субъекта в кресло, сбоку которого стоит другое кресло – для призрака. После нескольких гипнотических пассов субъект быстро засыпает и затем начинает излучать бледный свет, который быстро материализуется, сгущается, становясь призраком. Призрак помещается по левую сторону от субъекта на расстоянии 40–50 сантиметров. Субъект соединяется со своим призраком особым шнуром, толщиной в палец; шнур выходит из тела на уровне селезенки и служит для передачи от призрака субъекту и обратно чувствований и ощущений. Если быстро перерезать этот шнур – субъект может умереть».

Доктор Ш. Ланселен в своих опытах с выделением призраков дошел до такой развязности, что стал делать опыты над осязанием призраков, обонянием, вкусом, слухом и зрением... Одного призрака он даже взвесил. Призрак весил немного: что-то около полуфунта.

В некоторых опытах Ланселена много настоящего юмора. Например, он рассказывает, что однажды, усыпив со своим товарищем двух субъектов и выделив их призраки, он послал обоих призраков в другую комнату. Но, проходя в двери, призраки перепутались шнурами, соединяющими их с субъектами, и так как оба экспериментатора не видели в темноте этих шнуров, то после

попытки распутать сцепившихся призраков запутали их еще больше. Призраки стали нервничать, дергаться в разные стороны, а спящие субъекты принялись издавать стоны и жаловаться на сильную боль... «Насилу, – говорит деловитый Ш. Ланселен, – мы распутали их, обводя одного вокруг другого».

Все это, конечно, кажется чем-то диким, сверхъестественным, но если бы читатель дал себе труд проштудировать всю эту интересную книгу («Призрак живых» Дюрвиля – опыты Ш. Ланселена, книгоиздательство «Новый человек»), он вместе с нами был бы загипнотизирован серьезным спокойным тоном ученого, который безо всякой примеси шарлатанства рассказывает о вещах, от которых шевелятся волосы на голове.

Когда мы читаем беллетристические измышления о появлении призраков, вещающих загробным голосом какие-то странные слова, мы привыкли к тому, что всякий, кто присутствует при этом, или умирает от разрыва сердца или остается на всю жизнь седовласым стариком.

Не таков человек доктор Ланселен.

«В субботу (рассказывает он) 13 июня 1908 г. г-жа Ламбер (одна из пациенток доктора Ланселена) была у А. Около 8 часов вечера, проходя по темной гостиной, она увидела у камина немного блестящую туманную колонну, вышиною с человека среднего роста, с неясно обрисованными контурами. Испуганная (еще бы!), она быстро прошла в столовую и объявила, что видела призрак. Г-жа А. подошла к дверям гостиной и увидела ту же светящуюся колонну».

Кажется, после всего этого единственный нормальный выход – бросить квартиру на произвол судьбы и бежать куда глаза глядят... Так бы оно, вероятно, и было. Но тут замешался доктор Ланселен, автор книги «Призрак живых».

Приступает он к исследованию просто и деловито: в том месте, где появился призрак, он вешает несколько термометров и выясняет, что температура этого места выше на два градуса, чем температура в 2-х шагах. Усыпленная им ясновидящая г-жа Ламбер объясняет, что призрак этот – умерший отец г-жи А. и что он все время напрягает свои слабые силеньки, чтобы материализоваться и сообщить г-же А. что-то очень, по его мнению, важное. Повышение температуры и есть следствие его немощных усилий принять видимую внешность.

А г-жа А., в свою очередь, рассказывает:

«Вот уже два дня, как мы видим призрак покойного, который следует за нами или предшествует нам, куда бы мы ни шли – особенно в квартире; тут, если мы менее заняты, он возвращается к своей стоянке у камина и виден все время в форме блестящей колонны. Протягивая руку в эту колонну, мы всегда ощущаем сильную теплоту».

Появление этого призрака кончилось ничем – старичок так и не излил дочери своей наболевшей души. Теплоту израсходовал совершенно зря и, побродив еще немного за дочерью, мирно вернулся к своим астральным занятиям – бедный, бесхитростный, беспомощный старик.

А деловитый Ланселен снял развешанные термометры, составил протокол и снова вернулся к своим «призракам живых», измеряя их, взвешивая, пробуя на вкус.

Деловитость его доходит в некоторых вещах до того, что, например, глава III (стр. 121) носит название «Действие призрака на сернистый кальций».

Даже об этом подумал ничего не упускающий доктор Ш. Ланселен!

Глава III

как приобрести личный магнетизм

Искусство дышать. Общее мнение таково, что дышать может всякий дурак. «И рыба дышит», – сказал Сенека. Однако дышать не так легко, как думают.

«Оккультные книги указывают на следующий способ дыхания: сперва выпустите воздух из легких, пока они не станут совершенно пустыми; затем станьте прямо, вдохните через нос и наполните сначала нижнюю часть легких; затем наполняйте среднюю часть легких, выгибая вперед нижние ребра, грудную кость и грудь. Тогда уже наполняйте верхушку легких, выдвигая верхнюю часть грудной клетки и поднимая грудь вместе с верхними шестью и семью парами ребер». (См. Хатха-йога. Рамачарака, стр. 93).

Рамачарака уверяет, что это наиболее простое и приближающееся к природе дыхание.

Однажды пишущий эти строки попробовал, сидя в театре, подышать минут пять по-настоящему, по-йоговски.

Когда капельдинер выводил пишущего эти строки, слегка подталкивая в спину, он все время шептал со вздохами (вздохи были не йоговские): «И где это вы так успели набраться, господин?» Впрочем, в вопросе этом было больше истерического любопытства, чем укоризны...

Правду сказать, йогам дышать легко: забрался себе в джунгли, лег под бамбуком и дыши как угодно: поднимай грудь вместе с шестью ребрами или выгибай нижние ребра – ни одна собака, кроме близлежащего тигра, не осудит тебя.

А нам все время приходится быть на людях – не очень-то тут задышишь по-йоговски. Дыши, как все – как говорит пословица: «С волками жить, по-волчьи выть».

Другая книга (д-р Ридель, «Оккультные науки») идет еще дальше: «Дышите, как было указано выше, и одновременно с этим двигайте руками взад и вперед, пока ладони не сойдутся у вашего лба; когда же легкие вполне расширены, задержите дыхание и начинайте двигать руками назад, вперед и в стороны, описывая круг. Выдыхайте сначала верхнюю часть легких, потом нижнюю. Это нужно делать десять раз».

Оно можно бы делать и больше, но к десятому разу обычно сбегаются окружающие и, уложив вас с компрессом на голове в кровать, посылают за доктором, священником и нотариусом.

Это, в свою очередь, вызывает ряд глубоких вздохов как у вас, так и у окружающих...

Нервная мускулатура. «Примите правильное положение и, повернув лицо к окну (?), возьмите лист писчей бумаги за нижний правый угол большим пальцем и двумя следующими пальцами правой руки, держа верхний край бумаги в горизонтальной линии по отношению к вашему глазу и оконной раме; держать бумагу сначала надо минут пять, пока не устанет рука. Повторяя это упражнение, можно достигнуть получаса. Затем кладите на бумагу несколько дробинок и следите, чтобы они не скатывались».

Если вы выдержите эти упражнения три месяца, то в начале четвертого вы делаете следующее упражнение: снимаете с окна шнурок от портьеры, прикрепляете его к дверному косяку и, просунув

голову в петлю, пробуете так висеть, стараясь глубоко и часто дышать по способу Рамачараки.

Упражнение это (придуманное исключительно нами) имеет ту хорошую сторону, что уже никаких повторений не потребует.

Гимнастика глаз (по доктору М. Риделю).

«Станьте перед зеркалом, поставьте в середине его маленькую точку и пристально смотрите на нее; двигайте головой кругообразно, увеличивая постепенно радиус круга. Глаз принужден будет при этом вращаться с целью фиксировать точку. Упражняйтесь так время от времени по две, по три минуты в течение первых десяти – четырнадцати дней. Такое упражнение укрепляет глазные мускулы и дает вам возможность воспринимать зрением данный предмет со всех сторон.

В течение следующих десяти дней делайте круг больше, а движения быстрее, не теряя из виду точки, направо и налево, продолжая упражняться по десяти минут или более, если не чувствуете боли».

Если бы в вашей голове вместо мозга было молоко, то по истечении одного-двух дней этих упражнений молоко сбилось бы в превосходное сливочное масло. Но так как предполагается, что голова ваша наполнена нежным мозговым веществом – мы можем только побратски пожалеть вас и протянуть руку помощи. Можем также дать вам совет: отыскать доктора Магнуса Риделя и, заведя его в темный уголок, поделиться с ним личным мнением по поводу его высоконаучной книги...

Упражнение для развития личного магнетизма (по М. Риделю).

«Возьмите стул, стоящий твердо на полу, и сядьте на него как можно глубже, не касаясь, однако, плечами до его спинки. Грудь вперед, а живот назад; плечи несколько откинуть и слегка опустить. Руки положить на бедра, касаясь локтями верха бедер. Большой палец поднять так, чтоб он представлял собой с другими вытянутыми пальцами латинское V. Ноги отдельно, носки на расстоянии пяти-шести дюймов, пятки – двух или трех, представляя собой тоже латинское V. Губы сомкнуть, зубы разжать; язык должен лежать на нижней части рта, касаясь кончиком нижней челюсти, несколько вогнуть, совершенно спокойно. Подбородок должен быть откинут назад для придания независимого положения. Сидеть совершенно

прямо без напряжения мускулов – лишь один позвоночный столб должен быть твердым, спиной к свету.

Теперь выберите какой-нибудь неяркий предмет, чтобы не рассеивались мысли, как, напр., копейка. Поместите этот предмет на расстоянии четырех-семи футов и на высоте глаз. Смотрите на него упорно, не переставая и не моргая. В этом положении вы станете воспринимать, что посторонние мысли не оказывают на вас никакого влияния и вы находитесь, таким образом, в состоянии концентрации».

Лично мы того мнения, что копейка крайне неудачный предмет для концентрации мысли. Этот предмет скорее рассеивает мысли, чем концентрирует их.

– Копейка, – думаете вы, сидя перед этим «неярким предметом». – Гм... копейка... А вот будь у меня тысяча таких копеек, что бы я на них сделал! Купил бы новый галстук, отдал башмаки в починку, и еще осталось бы на кинематограф для меня и для моей Мурочки. А кстати: Мурочка уже не заходит три дня. Не бегают ли она к этому художнику? Вообще, эти художники!.. Недавно видел в «Эрмитаже» Рубенса. Что только этот человек мог написать! Кстати: написать. Давно не отвечал маме на письма...

Вот тебе и концентрация.

Ридель приводит еще много подобных упражнений, но мы не хотим приводить их, потому что в глубине нашей души все время сидит тайный страх: а что, если хоть один из наших читателей примется серьезно за все предлагаемые Риделем упражнения. Что скажет нам его любимая жена? Его родственники? Его осиротевшая собака?

* * *

Усвоив принципы личного магнетизма, вы можете гипнотизировать всех, кто подвернется вам под руку...

Глава IV

ГИПНОТИЗМ

Гипнотизмом называется ряд поступков, благодаря которым один засыпает по желанию и воле другого. Однако автор какой-либо книги, развернув которую читатель засыпает, не может быть назван гипнотизером.

Гипнотизеры, как известно, усыпляют четырьмя манипуляциями, а именно:

- 1) Поглаживание.
- 2) Истечение силы.
- 3) Возложение рук.
- 4) Дуновение.

Поглаживание без гипнотического сна вызывает у поглаживаемого субъекта возложение на лицо рук гипнотизера с большим истечением сил. Это возложение рук нимало не напоминает дуновение.

Из вышеизложенного видно, что перед опытом субъект должен обязательно погрузиться в сон. Иначе – получается неприятность.

Гипнотизировать не так трудно, как принято думать... Вы просто усаживаете человека на стул, делаете перед его лицом несколько пассов и приказываете:

– Спите.

После этого он засыпает. Вы его спрашиваете:

– Вы спите?

– Ну да, – отвечает гипнотизированный, – конечно, сплю. Что вы – не видите, что ли?

После этого начинаются опыты.

Вы берете чугунное пресс-папье, подносите к носу спящего и категорически, тоном, не допускающим возражений, говорите:

– Это – лампа.

– Нет, это не лампа, – говорит далее гипнотизер, – а кошка.

– Ну да, кошка, – спешит согласиться спящий. – Ясное дело – кошка. Где вы достали эту дрянь?

По нашему мнению, все дело в кротости и покладливости спящего. Человек этот настолько деликатен, что не хочет обижать гипнотизера. Кошка? Пусть будет кошка. Вы хотите, чтобы это пресс-папье было яблоком? Извольте. Я даже откушу кусочек промокательной бумаги, если это вам доставит некоторое удовольствие!

После того как гипнотизер натешился всласть над спящим, подсовывая ему одни предметы вместо других, гипнотизер может скомандовать:

– Проснитесь!

– Есть, – бодро откликается спящий... Хороший тон гипнотизма требует, чтобы спящий по пробуждении спросил: «Где я?», а потом принялся бы уверять, что он «ничего, ну решительно-таки ничего, вот тебе ни крошечки не помнит».

Гипнотизеры очень ценят таких воспитанных субъектов и платят им за сеанс большие деньги.

Впрочем, мы лично ценим только таких гипнотизеров, в действиях которых преобладает элемент юмора.

Например, д-р Северин рассказывает в своей книге о гипнотизме – об опытах английского гипнотизера Кеннеди.

«Кеннеди внушил нескольким мужчинам, что один из них – непослушный грудной ребенок, доведший до отчаяния своими криками няньку. Другому внушил, что он очень нетерпеливая нянька, третьему – что он мать.

Чтобы сделать комедию забавнее, он последних нарядил – одного в чепец, другого в фартук. Когда он сосчитал до трех, двое из находившихся под внушением – нянька и ребенок – серьезно принялись за исполнение своих ролей.

Ребенок, уже лежавший на полу, начал необыкновенно натурально кричать. Нянька бегала и искала (потом она их нашла) бутылку с молоком и пеленки. Дав ребенку молока, она взяла его на руки, но так как дитя не хотело успокоиться, завернула его в готовые пеленки и положила в громадную корзинку.

Но ничего не помогло. Дитя кричало все сильнее и сильнее, и нянька со злостью таскала корзину по полу туда и сюда. Наступил момент появления матери. Было сделано внушение, и она появилась на сцену. Крупная перебранка между обеими сторонами. Мать берет ребенка на руки и начинает с ним ходить. Но дитя кажется слишком тяжелым и опять укладывается в корзину, заменяющую колыбель. Однако крикуна ничем не успокоишь.

Наконец он надоел матери, та его отшлепала и отдала няньке.

Эта в отчаянии схватилась за бутылку, довольно похожую на ликерную, и дала ее ребенку; затем он с таким ожесточением начал с

проклятиями дергать корзину, что та перевернулась. Тут опять возгорелось недоразумение, обе стороны бросились друг на друга.

Внушение и удар в ладоши оператора, и все участвующие замерли на местах в живописных позах.

Другой раз Кеннеди среди добровольных зрителей заметил одного так называемого „просветленного“, который за спиной оператора строил гримасы, давая публике понять, что дело не совсем чисто. Публика уже начала испытывать враждебное настроение к оператору. Последний, обеспокоенный этим, обернулся назад и увидел виновника. Он попросил у одного из присутствующих палку, приложил ее к плечу и начал фиксировать взором этого, совершенно неподготовленного к такой неожиданности человека. Просветленного это поразило. Его противодействие было сломлено. Он начал дрожать, встал со стула, бросился к Кеннеди и коснулся концом носа палки, которая все еще была устремлена на него.

Кеннеди, проведя его при помощи палки на некоторое расстояние, одним ударом опустил ее, и субъект не мог сдвинуться с места. То был случай каталепсии, вызванной страхом. Затем Кеннеди обратился к пораженному собеседнику: „Вы мне оказали большую услугу, и я хотел бы быть вам признательным за это. Скажите мне ваше желание, и, если возможно, я исполню его“. Тот захотел много денег. Кеннеди приказал принести стакан воды, подал его субъекту и сказал: „В этом стакане 240 золотых, если вы их высыпете в карман, не рассыпав, они все ваши“. Радость просветленного была необычайна, все лицо его засияло от восторга ввиду необычайной легкости задачи.

Он ловко опорожнил карман, придержал его края и другой рукой вылил стакан с предполагаемыми 240 золотыми. Публика разразилась хохотом.

Кеннеди пробудил его, и он поразился, не понимая, как он тут очутился, и сделал несколько шагов, чтобы уйти. Теперь он заметил, что что-то случилось с одной половиной брюк, видит лужу на полу, хватается за брюки, которые непонятно влажны, заезжает рукой в карман, и скандал (?) готов».

А вот опыт Кеннеди с одной старухой:

«— Я, — говорит Кеннеди, усыпив старуху, — сделаю вас опять молодой!

Вам 20 лет, вы певица и сейчас выступаете на сцене с исполнением веселой песенки!

– Невозможно! 20 лет – как я могу стать двадцатилетней! Ведь я – старуха!

– Через две минуты вам будет 20 лет, вы сейчас почувствуете превращение.

Она вся как-то подбирается и через две минуты начинает: – Как хорошо! Вот чудо-то! – Она поправляет косынку и улыбается: она уже уселась на постели. – Ах, вот и г-н директор! Чья очередь? – Далее она вступает в разговор с воображаемой подругой: – Пойдешь ты или я? Моя очередь или твоя? Одной надо выходить! Скорей! Ну хорошо, я иду! Дайте звонок, г-н директор! Я даже не знаю, какой у меня номер по программе! Ах, что тут! Не все ли равно? – Она изящно трижды кланяется воображаемой публике и выразительно поет. Затем протягивает руку, как будто что-то берет: – Какой прекрасный букет! Да еще в день моего рождения! – Затем она обращается к своей соседке и спрашивает: – Видишь букет?

– Через минуту вы будете пьяным кучером, – говорю я ей. Она протирает глаза, выпрямляется в кровати и начинает угощать воображаемую лошадь здоровыми ударами кнута: „Но, но, но, старая кляча! – Жест к вожжам. – Ты что же, ложиться? Но, но! Нет, так больше нельзя! Мальчишка, берегись! Смотри, смотри, чтобы тебя не переехали... Но, но, старая кляча! Ты уж, верно, чуешь овес! А я с самого утра еще ничего не пил! Ах, вот (взгляд влево), вот и вывеска!“

Я спрашиваю: „Ты угощаешь?“ – „Я не богач! Ну, изволь стаканчик, войдем! Стой, стой, старая стерва! Ну, поскорей, а то она удерет, и завяжется история с полицией! Человек, два стакана! – Она опоражняет стакан. – А еще не нальешь? Еще разок. До свидания, до следующего раза!“ И всё это она произносит тоном, который сделал бы честь самому лучшему кучеру в мире.

– Теперь вы светская дама и едете в экипаже со своим слугою.

Она принимает важный, гордый и серьезный вид, откидывается назад, опирается на подушки, прикрывается старательно одеялом, торжественно скрещивает руки на груди и говорит серьезным, резким голосом: „Какая чудная погода! Жозеф, поезжайте к водопаду, но осторожнее! Ехать тихо!“ Она делает приветственные жесты рукой, с улыбкой раскланивается с разными лицами: „Какая масса народу!“

Так в этом положении, с этим же гордым, величественным выражением лица она пребывает две минуты и затем приказывает: „Поверните! Но осторожнее!“

Наконец я говорю: „Лошади испугались!“ А она на это: „Осторожнее, Жозеф! (Все еще прежним резким, размеренным тоном.) Держите лошадей! Я вылезу! Держите лошадей! Я вылезу, держите же их скорее! Я не могу понять, отчего такая невнимательность! Успокойте лошадей, держите их! Недурно, мы едем назад, но скорее, чем мы ехали сюда! Эта толпа их так испугала, я не понимаю, что вы не следите! Ведь вы можете быть виною несчастья! Я с вами никогда больше не поеду! Я вам откажу, если вы не будете лучше следить за лошадьми! Дайте вожжи!“

– Я превращаю вас в капрала!

– Боже мой, капралом! Но какого полка? Ведь я женщина!

– Я превращаю вас в мужчину и капрала! Все ваши люди ждут ваших приказаний, вы во главе отряда!

Ей надо всего минутку, чтобы подготовиться к новой роли, затем она выпрямляется и кричит: „Эй, ребята, рекруты! Смирно! Голову выше! Поднять ружья! Возьмите их в руки! Следите за командой! Марш рядами! Ружья к левому плечу! Вперед! Следить за рядом, не отставать! Держись прямо! Эй, ты там, держись лучше! Не то отправлю под арест! Раз, два, раз, два! Ты, осел, не можешь слушать! Потряси еще раз у меня локтями, идиот! Настоящее несчастье иметь дело с этими болванами! Ничему их не научишь! Шагом марш! Довольно!“

Я говорю наконец:

– Скушайте этот апельсин, затем к вам прилетит ангел, он вас разбудит дуновением в глаза.

Она берет воображаемый апельсин, аккуратно очищает его от кожи, складывает ее на ночной столик, с аппетитом кушает одну-две дольки и вынимает носовой платок, предварительно выплюнув зерна, чтобы обтереть рот, и затем прячет платок. Потом она обращается с закрытыми глазами кверху, и ее лицо просветлевает, она открывает глаза и просыпается».

Сколько должна была проявить доброты и мягкости старушка, чтобы добросовестно проделать все, подсказанное гипнотизером, и ни

разу не обидеть его отказом от роли кучера или капрала, дающего солдатам по зубам.

Да... Недаром говорят: старость почтенна.

Глава V

спиритизм

Спиритизмом называется искусство довести деревянный стол до такого состояния, чтобы он заговорил.

Делается это так: несколько человек сговариваются «заглянуть нынче вечерком в потусторонний мир»...

Вечером съезжаются в одно место, закрывают двери, гасят огни и, усевшись вокруг стола, соединяют свои руки в непрерывную цепь.

Главное сделано. Остальное – пустяки.

Дав столу оправиться от первого смущения, вступают с ним в задушевный разговор.

– Дух, ты здесь?

– Здесь, – отвечает смущенно столик, почесав ножкой воображаемый затылок.

– А зачем ты здесь, дух?

– Вот, ей-богу, странные люди, – недовольно бормочет столик. – Сами же собрались, вызвали меня, да сами же и спрашивают – зачем.

Он хмурит брови и неуверенно стучит ножкой семь раз.

– Дух! Зачем ты стукнул семь раз?

– Хотел и стукнул, – отвечает столик.

– Дух, кто ты такой? Как тебя зовут?

– Я царский истопник при дворе царя Алексея Михайловича. Зовут меня Петя.

– Дух Петя! Расскажи нам, что делается у вас на том свете.

«Ишь куда метнули», – ошарашенно думает Петя. Но ответ дает более деликатный:

– Нам запрещено говорить об этом. Нельзя. Мне тяжело.

– Почему тебе тяжело, дух Петя?

– Да все задают глупые вопросы, вот и тяжело.

После этого наступает на мгновение неловкое молчание...

Однако руководитель спиритического сеанса быстро овладевает собою и начинает приставать к духу с разными просьбами:

– Если ты здесь, дух Петя, то прояви себя.

– Как я вам себя еще проявлю, – уныло бормочет Петя.

– Ну, сделай что-нибудь.

Петя размахивается и дает подзатыльник ближайшему.

– Он меня коснулся! – радостно кричит ближайший. – Он меня тронул! Я уже тронутый.

– И я тронутая, – ревниво подхватывает дама. – Душечка дух! Брось что-нибудь на пол.

Дух вздыхает и покорно бросает на пол заранее приготовленную для этого случая гитару.

– Бросил! – радостно кричат все. – Он бросил на пол гитару.

«Что тут удивительного, – про себя недоумевает дух. – Неужели это так трудно? Неужели никто из них не мог бы этого сделать?»

– Дух, станцуй что-нибудь.

Очевидно, в царствование Алексея Михайловича весь народ был кротким и покладистым: услышав просьбу, Петя несколько раз притоптывает тяжелой ногой и смущенно смолкает.

«Отпустили бы они меня, – тоскливо думает призрак. – Ну чего там зря мучить?»

Пишущему эти строки приходилось несколько раз присутствовать на спиритических сеансах, и всегда его поражало одно: полное отсутствие фантазии как у духов, так и у спиритов: «Дух, разбросай по полу спички:…» – «Извольте». Разбрасывает. «Дух, выбери из трех карт бубнового туза». – «Извольте». Выбирает, откидывает в сторонку.

А что дальше? Для чего спиритам эта карта? Повертят ее задумчиво и недоуменно в руках и снова сунут в колоду.

Нет существа с более бедной фантазией, чем вызванный дух. Все его поступки необычайно примитивны: то он коснется холодной рукой чьего-то колена, то постучит ногами, то сбросит на пол с этажерки книгу, то найдет в уголке кусочек бумажки и сомнет ее.

По-моему, раз дух вызван и если он сам ничего путного не придумает, отчего бы им не воспользоваться с утилитарной целью: поставить кофейную мельницу, чтобы дух смолол фунта два кофе, положить на стол неразрезанную книгу и костяной ножик (всегда такая лень самому разрезать книги...), поручить почистить картофель к ужину или перебрать ягоды для варенья.

И в хозяйстве прибыльок, да и духу приятно, что он не зря коптит небо.

Для этого нужно только раз навсегда отрешиться от взгляда на духа как на существо особенное, чудесное; не надо глядеть на него, как пошехонцы на гоночный автомобиль... Нужно помнить, что дух такой же человек, как и мы, а если он сейчас находится на особом положении – ну что ж такое: никто из нас от этого не застрахован.

заключение

Читатель! Мы дали тебе в руки могучее и страшное оружие, раскрыв перед твоими глазами все тайны природы.

Читатель! Будь мудр и действуй этим оружием с толком. Не употребляй его во зло: если вызовешь духа, не обижай его, если загипнотизируешь знакомого – не вытаскивай из его кармана бумажник, пользуясь тем, что он в каталепсии, и если тебе удастся извлечь из любимой женщины астральное тело – не давай волю своим рукам – помни, что оно эфирно и беспомощно.

Читатель! Старайся быть достойным нас, благородных оккультистов и йогов.

Прощай, читатель.

Уники

Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин самой свободной в мире страны и, в качестве завсегдатая лавки, обращается к хозяину, потирая руки, с видом покойного основателя Третьяковской галереи, забредшего в мастерскую художника:

– Ну-ну, посмотрим... Что у вас есть любопытного?

– Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент: уник на уника и уникам погоняет. Вот, например, как вам покажется сия штукенция?

«Штукенция» – передняя ножка от массивного деревянного кресла.

– Гм... да! А сколько бы вы за нее хотели?

– Восемьсот тысяч!

– Да в уме ли вы, батенька!.. В ней и пяти фунтов не будет.

– Помилуйте! Настоящий Луи Каторз.

– А на черта мне, что он Каторз. Не на стенке же вешать. Каторз не Каторз – все равно, обед буду сегодня подогревать.

– По какому это случаю вы сегодня обедаете?

– По двум случаям, батенька! Во-первых – моя серебряная свадьба, во-вторых, достал полфунта чечевицы и дельфиньего жиру.

– А вдруг Чека пронюхает?

– Дудки-с! Мы это ночью все сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется? В смысле мануфактуры?

– Ну, прямо-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть – самый настоящий полосатый тик.

– С дачной террасы?

– Совсем напротив. С тюфячка. Тут на целое платье, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас кое-что есть. Поглядите-ка: настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальто-с! Да и драп же! Всем драпам драп.

– Да что же вы мне драп расхваливаете, когда тут только одна подкладка?!

– Об драпе даже поговорить приятно. А это точно, что сатин. Типичный брючный материал.

– А вот тут, смотрите, протерлось. Сошью брюки, ан – дырка.

– А вы на этом месте карманчик соорудите.

– На колене-то?!!

– А что же-с. Оригинальность, простота и изящество. Да и колено – самое чуткое место. Деньги тащить будут – сразу услышите.

– Тоже скажете! Это какой же карман нужен, ежели я, выходя из дому, меньше двенадцати фунтов денег и не беру. Съедобного ничего нет?

– Как не быть! Извольте видеть: настоящая «Метаморфоза» – Перль-де-неж!

– Что же это за съедобное: обыкновенная рисовая пудра!

– Чудак вы человек: сами же говорите – рисовая, и сами же говорите – несъедобная. Да еще в 18-м году из нее такое печенье некоторые штукари пекли...

– Ну, отложите. Возьму. Да, позвольте, что же вы ее на стол высыпаете?!

– А коробочка-с отдельно! Уник. Настоящий картон и буквочки позолоченные. Не я буду, если тысяченек восемьсот за нее не хвачу.

– Вот коробочку-то я и возьму. Жене свадебный подарок. Бижутри, как говорится.

– Бумажным отделом не интересуетесь? Рекомендовал бы: предобротная вещь!

– Это что? Меню ресторана «Вена»? Гм... Обед из пяти блюд с кофе – рубль. А ну, что ели 17 ноября 1913 года? «Бульон из курицы. Щи суточ. Пирожки. Осетрина порусски. Индейка, рябчики, ростбиф. Цветная капуста. Шарлотка с яблоками». Н-да... Взять жене почитать, что ли...

– Берите. Ведь я вам не как меню продаю... Вы на эту сторону плюньте. А обратная-с... ведь это бристоольский картон. Белизна и лак. На ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю. И без Совнархоза сделочку завершим. Без взятия на учет.

Двести тысяченек ведь вас не разорят? А я вам в придачу зубочистку дам.

– Зачем мне? Все равно она безработная будет...

- Помилуйте, а перо! Кончик расщепите и пишете, как стальным.
 - Да, вот, кстати, чтоб не забыть! Мне передавали, что у Шашина на Васильевском острове два стальных пера продаются № 86.
 - Да правда ли? Может, старые, поломанные?
 - Новехонькие. Ижицын ездил к нему смотреть № 86. Тисненные, сволочи, хорошенькие такие – глаз нельзя отвести. Вы не упускайте.
 - Слушаю-с! Кроме – ничего не прикажете?
 - Антрацит есть?
 - Имеется. Сколько карат прикажете?
- Этот рассказ написан мною вовсе не для того, чтобы рассмешить читателя для пищеварения после обеда.
- Просто я, как добросовестный околоточный, протокол написал...

Находчивость на сцене

О своих первых шагах на сцене я рассказывал в другом месте. Но мои последующие шаги должны быть (я так полагаю) также интересны для читателя. Вот один из таких шагов.

* * *

Я уже три недели как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный, и на всех не играющих на сцене я смотрю с высоты своего величия.

Сидел я однажды с актерами в винном погребе за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и тоньше объяснил актерам эту роль.

Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам:

– Здравствуйте, Гаррики!^[17] Нас познакомили.

– Вы тоже актер? – снисходительно спросил я.

– Что вы! – возразил он, оскаливая зубы. – Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке?! Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно на сцене?

Я погладил свои бритые щеки:

– Порядочно. Завтра будет три недели!

– Ого! Значит, через восемь дней можно уж и юбилей праздновать. Хе-хе... Воображаю, как вы волнуетесь на сцене!

– Кто? Я? Ни капельки.

– Ну да, знаем мы! Конечно, если роль вызубрили, да под суфлера идете, да окружены опытными товарищами – тогда ничего. А представьте себе: на сцене какая-нибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером, – воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени...

– Ну, – усмехнулся я. – Меня не легко смутить.

– На сцене-то? Да бывают такие случаи, когда и Варламова^[18] с Давыдовым^[19] можно, что называется, угробить!

– Меня не угробите.

– Люблю скромных молодых людей! – вскричал он. Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы...

– Что у вас идет завтра в театре?

– «Колесо жизни» Рахимова. Сам автор обещал завтра прийти посмотреть, как я играю Чешихина.

– Ах, вы играете Чешихина? И вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с толку?

– Да. По-моему, это гнилая задача.

Он зловеще улыбнулся. Протянул костлявую руку:

– Хотите заклад? На шесть бутылок кахетинского, на шесть шашлыков.

– Не хочу.

– Почему?!

– Мало. По десяти того и другого плюс кофе с бенедиктином.

– Молодой человек! Вы или далеко пойдете, или... плохо кончите. Согласен!

Таким образом состоялось это странное пари.

* * *

Шел второй акт «Колеса жизни». У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого.

– Кто этот другой? – спросил я крайне мрачно.

– Это вас не касается, – гордо ответила она, выходя за двери.

Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову, поскрежетать зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю – выбегает, хватая меня за руку и, рыдая на моей груди, признается в своем чувстве... Такие пьесы, скажу по секрету, играть не трудно, а еще легче – писать.

Я уже схватился за голову, уже, по авторскому замыслу, поскрежетал зубами и только что подскочил к дивану, чтобы «уткнуться головой в подушку» – как боковая дверь распахнулась, и худой молодец с белыми волосами – тот самый, который взял подряд как бы то ни было смутить меня на сцене, – этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом.

С двух сторон я услышал два шипения: впереди – суфлера, из боковой кулисы – помощника режиссера. Из директорской ложи глянуло на нас остолбенелое лицо автора.

– Здравствуйте, Чешихин! – развязно сказал беловолосый, протягивая мне руку. – Не ожидали? Я на огонек завернул.

Впереди я слышал шипенье, сбоку за кулисой отчаянное проклятие.

– Здравствуй, Вася, – мрачно сказал я. – Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз, а? Мне нужно быть одному...

– Ну, вот еще глупости! – засмеялся беловолосый нахал, развалившись на диване. – Посидим, поболтаем.

Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался.

Я задумчиво прошелся по сцене.

– Вася! – сказал я значительно. – Ты знаешь Лидию Николаевну?

Он покосился на меня и, незаметно подмигнув, проронил:

– Конечно, знаю. Преаппетитная девчонка.

– А-а! – вскричал я в неожиданном порыве бешенства. – Так это, значит, ты тот, из-за которого она отказала мне?! (Суфлерская будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче.) Ты?! Отвечай, негодяй!

«Вася» поглядел испуганно на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном:

– Бросьте... поговорим о чем-нибудь другом...

– О другом?! – заревел я, торжествующе поглядывая на автора, который метался в директорской ложе, как лошадь на пожаре. – О другом? Ты меня довел почти до смерти и теперь хочешь говорить о другом?! Отвечай! – Я бросился на него, стал ему коленом на грудь и стал колотить головой об спинку дивана. Отвечай – как у вас далеко зашло?!

«Вася» побледнел как смерть и прошептал:

– Пустите меня, медведь! Вы так задушите! Шуток не понимаете, что ли?

– Ты сейчас умрешь! – прорычал я. – Другой раз тебе будет неповадно!

Он глядел на меня умоляющими глазами.

Потом прошептал:

– Ну, я проиграл пари, какого черта вам еще нужно? Пустите, я уйду.

– Смерть тебе! – вскричал я со злобным торжеством – и так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол.

– Неужели я убил его?! – вскричал я, театрально заламывая руки. – Воды, воды этому несчастному!

Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело «Васи». Он испуганно закричал.

– Очнулся! – обрадовался я. – А теперь иди, несчастный, и постарайся на свободе обдумать свое поведение!

Я взял его в охапку и почти вышвырнул в боковую дверь. Схватился за голову. Прислушался. По мягким звукам ударов и по заглушённым стонам за кулисами я понял, что передал неудачливого Васю в верные руки.

– Итак, вот кто ее избранник! – вскричал я страдальчески. – Нет! Лучше смерть, чем такое сознание.

Дальше все пошло как по маслу: я вынул револьвер, приставил к виску, из средних дверей выбежала любящая женщина, упала на грудь – одним словом, я опять стал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно.

«Колесо жизни» завертелось: в будке показался суфлер, в ложе – успокоенный автор.

* * *

После спектакля мне подали в уборную записку:

«Жрите сегодня ваше вино и шашлык без меня. Я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты!»

Роковой выигрыш

Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читательбрюзга, прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным, безапелляционным тоном:

– Не может быть такого случая в жизни! Читатель, конечно, способен спросить:

– А чем вы это докажете?

Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О Боже мой! Да очень просто: такой случай возможен потому, что он был в действительности.

Надеюсь, другого доказательства не потребуются?

Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности, в августе месяце в одном из маленьких южных городков! Ну-с?

Да и что здесь такого необычного?.. Устраиваются на общедоступных гуляньях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову?

Может!

Ну вот и все. Корова – это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыгрываться вся пьеса, или ни я, ни читатель ничего не понимаем в музыке.

* * *

В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено, по случаю престольного праздника, «большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость (бег в мешках, бег с яйцом и пр.), а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея-аллегри с множеством грандиозных призов, среди которых – живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар».

Гулянье имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю.

Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта – «бега в мешках». Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков, с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом (другая отрасль спорта: «бег с яйцом»); уже был сожжен блестящий фейерверк; уже половина лотерейных билетов была раскуплена...

И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала:

– А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею... Вдруг да что-нибудь выиграем!

Рыцарь Еня не прекословил.

– Настя! – сказал он. – Ваше желание – форменный закон для меня!

И ринулся к лотерейному колесу.

С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил:

– Выбирайте. Один из них мой, другой ваш.

Настя, после долгого раздумья, выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» – и бросила его на землю, а Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик:

– Выиграл! – И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами: – Если зеркало или духи – дарю их вам.

Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил:

– Барышня! Номер 14 – что такое?

– 14? Позвольте... Это корова! Вы корову выиграли.

И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь.

И – таково страшное действие богатства и славы – даже Настя потускнела в глазах Ени, и пришло ему в голову, что другая девушка – не чета Насте – могла бы украсить его пышную жизнь.

– Скажите, – спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась. – Я могу сейчас забрать свою корову?

– Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за 25 рублей.

Бешено засмеялся Еня.

– Так, так! Сами пишете, что «корова стоимостью свыше 150 рублей», а сами предлагаете 25?.. Нет-с, знаете... Позвольте мне мою корову, и больше никаких!

В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал:

– Пойдемте, Настенька, домой, больше нам здесь нечего делать...

Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело:

– Неужели вы с ней будете так... таскаться?

– А почему же? Животное как животное, да и не на кого ее же здесь оставить!

* * *

Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы: Еня, Настя, корова.

Наоборот, широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел...

Настя, нахмутив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала...

– Слушайте, Еня... Значит, вы меня домой не проводите?

– Провожу. Отчего же вас не проводить?

– А... корова?

– Чем же корова вам мешает?

– И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют, мальчишки на нашей улице проходу не дадут!!

– Ну, хорошо... – после некоторого раздумья сказал Еня. – Сядем на извозчика. У меня еще осталось тридцать копеек.

– А... корова?

– А корову привяжем сзади. Настя вспыхнула.

– Я совершенно не знаю: за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову!

– Вы думаете, это очень остроумно? – надменно спросил Еня. – Вообще, меня удивляет: у вашего отца четыре коровы, а вы одной даже боитесь, как черта.

– А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли? Сокровище какое, подумаешь...

– Как угодно, – пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. – Если вам моя корова не нравится...

– Значит, вы меня не провожаете?

– Куда ж я корову дену? Не в карман же спрятать!..

– Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить.

– Пожалуйста, – расшаркался обиженный Еня. – И послезавтра к вам не приду, и вообще могу не ходить, если так...

– Благо нашли себе подходящее общество!

И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда.

Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте.

Потом очнулся.

– Эй, ты, корова... Ну, пойдём, брат.

Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно, но едва они вышли на освещенную многолюдную Дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу:

– Коровичий сын свою маму спать ведет.

– Вот я тебе дам по морде, так будешь знать, – сурово сказал Еня.

– А ну дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?

Это была чистейшая бравада, но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью.

На половине Дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее: бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня, с рассеянной миной, пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего...

Когда же поступательное движение коровы ослабевало и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова исподтишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше...

Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату... И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль:

«А куда я сейчас дену корову?»

Сарая для нее не было. Привязать во дворе – могут украсть, тем более что калитка не запирается.

«Вот что я сделаю, – решил Еня после долгого и напряженного раздумья. – Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате...»

Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой:

– Эй, ты. Иди сюда, что ли... Да тиш-ше! Ч-черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь.

Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы: потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей службы и к своему новому месту жительства.

Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.

– Кш!! Ишь ты, проклятая, – подушку грызет! Ты что... есть, может, хочешь? или пить?

Еня налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом крадучись вышел во двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик же...

– На, ты! Как тебя... Васька! Ешь! Тубо!

Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.

– Цыц ты, проклятая! – ахнул растерявшийся Еня. – Молчи, чтоб тебя... Вот анафема!..

За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.

– Это вы, Иван Назарыч? – шепотом спросил Еня. – Входите, не бойтесь... У меня корова.

– Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?

– Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!.. Тубо!

– Да как же можно корову в комнате держать? – недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. – Узнают хозяева – из квартиры выгонят.

– Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней.

«М-м-му-у!» – заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.

– А, нету на тебя угомону, проклятая!! Цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю. Постой. Ну, ты! Что я с ней сделаю – одеяло жует! У-у, черт!

Еня отбросил одеяло и хватил изо всей силы кулаком корову между глаз... «М-мму-у-у!..»

– Ей-богу, – сказал жилец, – сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой.

– Так что же мне делать?! – простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. – Ну, посоветуйте.

– Да что ж тут советовать... А вдруг она будет кричать целую ночь. Знаете что? Зарежьте ее.

– То есть... как это зарезать?

– Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам.

Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина.

Еня тупо поглядел на жильца и сказал, после некоторого колебания:

– А что же мне за расчет?

– Ну как же! В ней мяса пудов двадцать... По пяти рублей пуд продадите – и то сто рублей. Да шкура, да то, да се... А за живую вам все равно не больше дадут.

– Seriously? А чем же я ее зарежу? Есть столовый нож и тот тупой. Ножницы еще есть – больше ничего.

– Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга...

– А вдруг она... станет защищаться... Подымет крик...

– Положим, это верно. Может, отравить ее, если...

– Ну, вы тоже скажете... Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула, да откуда его сейчас возьмешь?..

«Му-у-у-у!..» – заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок.

За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед смятённым Еней предстал сонный, растрепанный хозяин.

Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое:

– Вон!

– Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич...

– Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было. Я покажу вам, как безобразно заводить!

– То, что я вам и говорил, – сказал жилец таким тоном, будто все устроилось как нужно; закутался в свое одеяло и пошел спать.

* * *

Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову (первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем).

– Ну, ты, проклятая! – сказал Еня сонным голосом. – Иди, что ли! Не стоять же тут...

Тихо побрели...

Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.

– Тепло, в сущности, – пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. – Посплю здесь у изгороди, а корову к руке привяжу.

И заснул Еня – это удивительное игралище замысловатой судьбы.

* * *

– Эй, господин! – раздался над ним чей-то голос. Было яркое, солнечное утро.

Еня открыл глаза и потянулся.

– Господин! – сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога. – Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать. Это к чему ж такое?

Вздвогнув как ужаленный, вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик: другой конец привязанной к руке веревки был наглухо прикреплен к низкорослому, корявому дереву.

Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево, но Еня был просто глупо-практичным юношей.

Всхлипнул и завопил:

– Украли!!

.....

– Пойдите, – сказал участковый пристав. – Что вы мне все говорите – украли да украли, корова да корова!.. А какая корова?

– Как какая? Обыкновенная.

– Да какой масти-то?

– Такая, знаете... Коричневая. Но есть, конечно, и белые места.

– Где?

– Морда, кажется, белая. Или нет! Сбоку белое... На спине тоже... Хвост такой же тоже... бледный. Вообще, знаете, как обыкновенно бывают коровы.

– Нет-с! – решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. – По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете!

И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод... Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня...

И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все: корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно: и

корова, и жилище, и любимая девушка.

Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все – ее слепые, покорные рабы.

Белая ворона

Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить – имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии.

Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать: будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении.

Его можно было расспрашивать о чем угодно – он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни, пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество.

Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки: сидел я однажды вечером в своей комнате (квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином), сидел мирно, занимался, – вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны...

Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь.

Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом, с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом.

При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег:

– Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло... – И добавил с гордой самонадеянностью: – Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит.

– Кто «оно»? – испуганно спросил я.

– Оно, ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой.

Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими, остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя...

– Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?!

– А я не знаю еще – мальчик оно или девочка. А нашел я его тут в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял.

– Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили.

– Ну, вот! Что он, убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек! А? Вы не находите?

Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня.

В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал.

Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца.

Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил:

– Не думаете ли вы, что он голоден? Что «такие» едят?

– Вот «такие»? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке.

– Гм! История. А где его, спрашивается, достать, молока этого?

Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь.

Вошла прехорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала:

– Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профес... Это еще что такое?

– Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый?

Девушка приняла в ребенке деятельное участие: поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу.

– Почему он кричит? – строго спросила она.

– Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден.

– Почему же вы ничего не предпринимаете?

– Что же я могу предпринять?! Вот этот господин – он, кажется, понимает толк в этих делах – советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами...

В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую грудь девушки, и лицо его озарилось радостью.

– Послушайте, Наташа... Не могли бы вы... А?

– Что такое? – удивленно спросила девушка.

– Не могли бы вы... покормить его грудью? А мы пока вышли бы в соседнюю комнату... Мы не будем смотреть.

Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала:

– Послушайте... Всяким шуткам есть границы... Я не ожидала от вас...

– Я не понимаю, что тут обидного? – удивился Алеша. – Ребенку нужна женская грудь, я и подумал...

– Вы или дурак, или нахал, – чуть не плача, сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол.

– Чего она ругается? – изумленно спросил меня Алеша. – Вот вы – человек опытный... Что тут обидного, если девушка покормит...

Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся.

Потом позвал его:

– Пойдите-ка сюда... Скажите, сколько вам лет?

– Двадцать два. А что?

– Чем вы занимаетесь?

– Кристаллографией...

– И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка?..

– Да что ж ей... жалко, что ли?

Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску...

За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног.

Очевидно, хозяин и гостя, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище.

Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный.

– Я пришел к вам посоветоваться.

– Что-нибудь случилось? – спросил я, заражаясь его озабоченным видом.

– Да! Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?

– Красивая? – с цинизмом, присущим опытности, спросил я.

– Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль.

– Конечно, это деталь, – сдерживая улыбку, согласился я. – Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного!

– Ну да! А в случае со мной главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась – замужем!

Я присвистнул:

– Значит, вы целовались, а муж увидел?!

– Не то. Во-первых, не «мы целовались», а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.

– Так что же вас тревожит?

– Видите ли... Это в моей жизни первый случай. И я не знаю, как поступить? Жениться на ней – невозможно. Вызвать на дуэль мужа – за что? Чем же он виноват? Ах! Это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутанно и неприятно. И потом – если она замужем – чего ради ей целоваться с чужими?!

– Алеша!

– Ну?..

– Чем вы занимались всю вашу жизнь?

– Я же говорил вам: кристаллографией.

– Мой вам дружеский совет: займитесь хоть ботаникой... Все-таки это хоть немного расширит ваш кругозор. А то – кристаллография... она действительно...

– Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна...

– Гм... А с Наташей помирились?

– Да, – пробормотал он, вспыхнув. – Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак.

– Алешенька, милый!.. – завопил я. – Можно вас поцеловать?

Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал:

– Вам – можно.

Я поцеловал его, успокоил, как мог, и отпустил с миром.

* * *

Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился:

– Скажите мне: как на вас действует сирень?

Я уже привык к таинственным извивам его свежей, благоухающей мысли. Поэтому, не удивляясь, ответил:

– Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно.

– Если бы не сирень – ничего бы этого не случилось, – опустив глаза вниз, пробормотал он. – Это «многолетнее» растение, как вы называете его – ужасно!

– А что?

– Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом – да вдруг – поцеловал!!

– Алеша! Опомнитесь! Вы? Поцеловали? Кого?

– Ее. Наташу. – И, извиняясь, добавил: – Очень сирень пахла. Голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения – не могу даже разобраться: виноват я или нет... Вот я и хотел знать ваше мнение...

– Когда свадьба? – лаконически осведомился я.

– Через месяц. Однако как вы догадались?! Она меня... любит!..

– Да что вы говорите?! Какое совпадение! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии? О зоологии и физиологии я уже не говорю.

– Да... – задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом. – Если бы не сирень – я бы так никогда и не узнал, что она меня любит.

* * *

Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него, и мысли – мысли мудрого циника – копошились в моей голове.

«Да, братец... Теперь ты узнаешь жизнь... Узнаешь, как и зачем целуются женщины... Узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человек. Мир твоему праху, белая ворона!..»

notes

Примечания

В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, наиболее вероятен 1903 год.

2

Фокусник, развивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев рук.

3

Здесь: свидание наедине (фр.).

4

Железной дорогой (фр.).

5

Здесь: иначе (говоря) (лат.).

6

Шляпы и платья (фр.).

7

Успокойся, пожалуйста (фр.).

8

Да нет (фр.).

9

Свежей рыбы (фр.).

10

Автомобиль (фр.).

Этого знаменитого русского (фр.).

О наша бедная Россия! (фр.).

Настоящая петербургская (фр.).

14

Есть, кушать (фр.).

Чашка (фр.).

C (φp.).

Гаррик Дейвид (1717–1779) – английский актер, прославившийся в пьесах Шекспира.

Варламов Константин Александрович (1849–1915) – русский актер.

Давыдов Владимир Николаевич (1849–1925) – русский актер.